



Гульнара
Хайдарова

КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ПРИКАЗА

Гульнара Хайдарова

Культурная практика приказа

«Алетейя»

2022

Хайдарова Г. Р.

Культурная практика приказа / Г. Р. Хайдарова — «Алетейя»,
2022

ISBN 978-5-00165-465-0

В монографии представлен культурно-антропологический анализ фигуры командира, служебная практика которого предполагает личную ответственность. Призвание командира вовлекает весь потенциал человека — с его уникальным способом мышления, со способностью принять решение в предельной ситуации, с осознанием необходимости морального выбора и последствий этого выбора. Сквозная идея исследования состоит в том, что командир неизбежно сталкивается с экзистенциальным вызовом, для ответа на который следует обратиться к философии, позволяющей интегрировать противоречия военного дела. Значительное внимание уделено оценке современной медиасреды и медиарациональности, учет которых важен для принятия адекватного решения в комплексных формах современной войны. Монография основана на обобщении опыта флотских командиров, задачи которых связаны с автономным управлением в море, что востребует особую культуру мышления. Поставленные проблемы и выдвинутые гипотезы призваны вызвать дальнейшие размышления заинтересованных экспертов — философов, психологов, социологов, педагогов, — и способствовать разработке практических методов обучения, воспитания, реабилитации командиров. Материалы книги могут послужить содержательной основой для курса «Философия военного управления», могут быть полезны тем, кто интересуется феноменами насилия и власти, боевого творчества и суверенного решения, социальной справедливости и личной ответственности.

ISBN 978-5-00165-465-0

© Хайдарова Г. Р., 2022

© Алтейя, 2022

Содержание

Введение	6
Часть I. Человек командующий	9
§ 1. «Это не ремесло»	9
Рене Магритт: образ и слово	9
Ойкос: хозяйствование в военном деле	14
Рука ремесленника и дистанционный пульт оператора	18
Рука	19
Resume	21
Ссылки:	21
§ 2. Пустота в центре мира: жертва временем	23
Варианты разметки времени	23
Отложенное время и точность жертвы	24
Фигуры, воплощающие особую разметку времени	26
Жертва как форма безвозвратного дара	28
Ссылки:	30
§ 3. Проблема суверенного решения	31
Суверенность изнутри	31
Суверенность в системе единоначалия	33
Суверенность в ситуации постправды	35
Ссылки:	39
§ 4. Экзистенциальный вызов военного управления	40
§ 5. К проблеме возможности нравственного чувства	45
и морального выбора	
Собственные политики медиа	45
Военно-морская традиция	46
Об условиях возможности морального решения	49
Ссылки:	52
Часть II. Мир медиа	53
§ 1. Медиа-война и медиа-политика: проблема разграничения	53
§ 2. Медиааналитика в ситуации постправды	58
Стихия медиа: язык, среда, арена	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Гульнара Равилевна Хайдарова

Культурная практика приказа

Введение

Монография посвящена фигуре командира и осуществляемому им военному управлению. Феномен управления комплексный: с одной стороны, инвариантный, как проявление социальной природы человека, а с другой стороны, связан с культурно и исторически специфичным личным опытом. Особенность исследования состоит в том, что оно проведено на основе материалов, связанных с военно-морской культурой России.

Принципиальным сквозным вопросом является традиционный для философии вопрос: в кантовской формулировке «что такое человек?» (Диогеновское – «ищу человека»). В нашем случае – что такое человек, призванный по долгу службы заниматься военным управлением, принимая решения и возлагая на себя ответственность. Философская перспектива рассмотрения примиряет с неизбежностью апорий и позволяет выявить скрытые противоречия командирской практики.

В книге предпринята попытка раскрыть, что такое власть для конечного человека в ее корреляции с военным управлением и военным искусством; как соотносена власть суверенного решения с моральным выбором человека; как складывается абсолютная ответственность личности из взаимоисключающих требований к ней; как формируется способность к боевому творчеству и чем она уравнивается; как функционирует культурная практика военного дела, в матрице которой развивается личность командира. Мы называем ее для удобства *«культурной практикой приказа»*, и у этой практики свой язык, свои формы, своя история в отличие от других практик социального управления, наконец, своя специфичная культура мышления, укорененная в образцах и прецедентах. И глубина противоречий здесь, на наш взгляд, столь велика, что есть основание говорить о порождении своей философии, *философии военного управления*. Одна из задач автора – обосновать необходимость встречной философской мысли о военном управлении.

Кроме того в исследовании есть практические предложения, следующие из концептуального рассмотрения следующих вопросов: что происходит с практикой приказа и с военным управлением сегодня, в мире глобальной цифровой деревни; как подготовить человека к ситуациям нестабильности и неопределенности, нелинейности и асимметрии, гибридности акторов и вседозволенности средств противоборства; как предупредительно разнообразить способность мышления командира и как его самого спасти от одиночества, в том числе после завершения службы.

Очевидную ценность, которую необходимо сохранить и усвоить, представляет собой культура военного мышления, а также своеобразная культурная память военно-морского флота России. Вместе с тем есть необходимость и в инновациях в военном образовании, связанная с медиасредой, медиатехнологиями и сетевой коммуникацией. И это не только медианалитика, что само по себе дело непростое и нуждается в привитии медиа-цифровой культуры и навыков дифференцирования медиапотока. Но необходимо сформировать само представление о новой медиарациональности, в которой границы классической рациональности размыты или отменены. Здесь на помощь сохраняющей и стабилизирующей военной культуре приходит гибкая и чуткая философская культура, с развитыми практиками самосознания, с реконструированием логики культуры, логики аффекта, с учетом медиаполитических эффектов, с семиотическим анализом и интерпретацией всего медиаполя как целостного, позволяющего

декодировать комплексные ситуации, и, соответственно, адекватно оценивать складывающуюся военно-политическую обстановку, требующую принятия управленческого решения.

Медиасреда пронизывает нас самих («медиа внутри нас»), она образует основу нашей сегодняшней коммуникации, поэтому при подготовке командира мы не можем не смещать конфигурацию военного образования в сторону подготовки человека как личности, для чего необходимы гуманитарные знания. Смещение акцентов в подготовке военных специалистов и командиров – не идеологическая, не военно-политическая и не «духовная» ориентация (история не повторяется). Информационная (медийная) среда подвижна и текуча, неопределенна и анонимна, и умение самостоятельно и быстро схватывать в ней тенденции, выходя из «информационных пузырей», отличая информационные завесы, – это умение в некотором роде связано с традиционными для военной культуры понятиями «военной хитрости», «опережающего мышления», «суверенного решения», формирующего «сцену» (театр военных действий). Однако, хотя медиапространство отсылает нас к военному искусству и боевому творчеству, но принципиально противоположным военной культуре и привычке командира мыслить *целерационально* и действовать со всей ответственностью *целесолагания*, является безответственность медиаакторов, фрагментированность и конвергентность информационных потоков, а также наличие «неучтенных» собственных политик медиа.

В ответ на вопрос, зачем прагматичному военному управлению нужна метафизическая перспектива, напомним, что философия позволяет повысить уровень сложности и варьировать глубину проработки вопросов, задать сам язык и категориальный аппарат. Само же вопрошание «зачем философия», уже является свидетельством кризиса: установившегося догматизма и застоя мысли, идеологичности и шаблонности, бюрократизма и «немогузнайства», непререкаемости авторитетов и диктата посредственности, опасющейся мыслить *критически*. Философия всегда была нужна, чтобы спастись: остаться человеком – мыслящим, добрым, творящим, удивляющимся и восхищенным. Конечно, философия, которая всегда на острие актуальных смыслов и тенденций в культуре и обществе, оказывает нам поддержку и в понимании новой политической реальности, вызванной собственными политиками медиа. Осознание специфических черт медиарациональности необходимо, чтобы скорректировать методологию военных наук. Философская рефлексия способствует постижению сущности современной войны (заметим, что существующее отставание в гуманитарной сфере в целом – источник катастроф, поскольку гуманитарное знание дает основу развития личности, а в медиамире личностная свобода принципиально необходима, прежде всего, чтобы не подражать своим технологиям – искусственному интеллекту и созданной им среде обитания). Соответственно, еще одна традиционная (со времен сократовского «познай самого себя») задача философии – заложить основу самосознания (ведь чтобы принять суверенное решение нужно крепко стоять на своих ногах). Концепты современной экзистенциальной философии, как и традиционно практикуемые философами стоицизм и эпохэ (воздержание от суждений), оказывают поддержку осознанному противостоянию страху, боли, смерти, а также всей рутинной повседневности, перемалывающей в песок возвышенные намерения. Подчеркнем еще первостепенно важный для командиров вопрос, пользуясь клише советских учебников «основной вопрос философии», – это проблема времени: исторического/мифического и хронологического времени, личного экзистенциального времени или всегда дефицитного времени на решение, сосредоточенного в отчаянное мгновение интенсивности смыслов. В вопрос о времени для командира погружены и вопросы о бытии, о мышлении, о первичности-вторичности, о справедливости или красоте. И в этом собственно особенность военного искусства и боевого творчества, выводящая на уровень метафизики.

Философ занимается рефлексией: оборачиванием на целостный контекст и схватыванием своего предмета в нем. Для рефлексии необходимо знание деталей, чтобы в повседневном и текущем увидеть вечное и вневременное. Экзистенциально-антропологический вектор,

заявленный в исследовании, направлен в сторону человека-командира, а культурологический анализ предполагает выявление исторического и культурного своеобразия уникальных способов его ответа на вызовы. Лично, как исследователю, мне были интересны такие вопросы (и ответы на них оставлены в монографии, хотя подчас мои оценки весьма субъективны): в чем отличие и в чем общность фигур *философа* и *командира*, в чем сближается ответственность за социальное поле философа и командира, как проявляется эта общность черт в новой ситуации медиасреды (воинственной по своей сути).

В соответствии с моделью сетецентрической войны военное управление может быть распределено между тремя фигурами: *технократ* vs *медиакрат* vs *командир*, – где первенство и ответственность (единоначалие) остается за командиром. Именно командир наделен сакральной властью, судьбоносной призванностью, экзистенциальной ответственностью и боевым творчеством. В ходе исследования, в том числе на основе анализа текстов выдающихся военных теоретиков и флотоводцев, удалось определить, что выделяет и определяет эту фигуру, в том числе в сравнении с художником и философом. Другой вопрос – и он всегда важен для философа, – чем и как определяется сознание и самосознание командира, в чем состоит (и нужна ли ему) духовная мощь, и, наконец, как инициируется в нем боевое творчество. Здесь обнаружилось, что имманентное экзистенциальное противоречие является необходимым условием и творчества командира, и его мышления, и его поступков. Наконец, мне был интересен феномен самопожертвования командира: его предельной самоотдачи как оборотной стороны абсолютной (единоначальной) ответственности. Метафора «*пустоты в центре мира*», на мой взгляд, обладает описательным потенциалом в этом вопросе. И здесь же встают вопросы самочинного произвола в отношении подчиненных и удержания меры, ради сохранения справедливости («Выпей море, Ксанф!»). Описательной моделью в отношении командира как гаранта справедливости для его экипажа обладает метафора «*весов*»: он на одной чаше, а на другой – вверенные ему люди.

Итак, объект исследования – культурная практика военного управления. Предмет исследования – человек, осуществляющий эту практику в контексте военно-морской культуры и актуальной медиасреды. Цель исследования состоит в том, чтобы обозначить инвариантные требования к человеку, выполняющему эту комплексную практику, и определить культурно-историческую специфику этой практики в современном мире, в условиях новых форм противоборства. Результаты исследования могут быть взяты в качестве основы для разработки курса «Философия военного управления» для магистров.

Рассмотрение феномена военного управления, сложного и увлекательного для исследователя, было бы невозможно без личного опыта, которым великодушно поделились со мной многие командиры. Хотела бы выразить благодарность всем тем, с кем в Военно-морской академии мне удалось поговорить и расспросить, как из числа слушателей, так и из числа преподавателей и ветеранов военной службы, чья деятельность была связана с командованием боевыми кораблями, силами (войсками) соединений и объединений ВМФ. Хотела бы поблагодарить также коллег по научному отделу, за добрые советы и направляющие указания, а также руководство ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» за оказанное доверие. Вместе с тем хотела бы воздать должное традициям нашего флота, бережно сохраняющим наследие: даже в период новых идеологических оценочных суждений были оставлены неприкосновенными труды выдающихся теоретиков и практиков дореволюционной эпохи, замечательных ученых нашей академии. Архивные материалы позволили соотнести текущую ситуацию и взгляды о предназначении командира с классическими трудами Кладо, Бубнова, Немитца, Жерве и других.

Часть I. Человек командующий

§ 1. «Это не ремесло»

Уважаемому коллеге по Академии, командиру-подводнику и ученому, Крамаренко Владимиру Григорьевичу посвящается: с благодарностью за беседы в 2018/2019 гг.

Рене Магритт: образ и слово

У Мишеля Фуко есть книга с названием «Это не трубка» (1973 г.). Это размышления о картине сюрреалиста Рене Магритта (1929 г.). Надпись художника «Это не трубка» под рисунком, совершенно отчетливо изображающим трубку, обращена не к любителям шарад, детективных сюжетов или эзотерики, не к технологам дезинформации и фейков. Она о другом: это культурный факт, квинтэссенция западной традиции, удваивающей мир в рефлексии и определяющей мир Словом¹. Показывать и говорить, изображать и называть – не одно и то же². (Кстати, эта картина входит в серию с говорящим названием «Вероломство образов»³.) Не интригуя читателя чрезмерно, констатируем очевидное, что образ (репрезентация действительности) не совпадает с самой действительностью. Как говорят семиотики: «Карта не есть территория». И предупреждают, чтобы не смешивать одно с другим, не подменять действительность какой бы то ни было, желательной или устрашающей, ее репрезентацией (ее образом, имиджем, нашей проекцией). В том числе в эпоху медиареальности как самостоятельной среды, необходимо сохранить памятование о вторжении и влиянии распространяющего информацию медиума («The Medium is the message», – знаменитый тезис М.Маклюэна о преобразующем влиянии всякого средства передачи [3]).

Конечно, прекрасны воображаемые миры, нарисованные тонкой кисточкой и воплотившиеся в сказочных сюжетах, подобно миру математика Льюиса Кэрролла, с легкостью транспонирующего одно в другое, будто с вернувшейся из страны чудес Алисой ничего необратимого не произошло: «Теперь мы используем саму страну в качестве ее собственной карты, и я уверяю вас, она столь же хороша» (Л.Кэрролл) (Опережая ход повествования, спросим себя здесь: что происходит с вернувшимся с боевых действий человеком: стоит ли он столь же бестрепетно у карты, обменивает ли свой боевой опыт с той же легкостью на политическую или экономическую карту?). Не будем здесь также упредительно обращать внимание читателя на то, сколь «естественны» и убедительны (для алчущих быть убежденными) фейки, сколь

¹ Речь идет не только о христианском мировоззрении, с зачином в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Но и об античной греческой культуре с ее центрированностью на Логосе.

² Как пишет Фуко: «*Это не трубка* было надрезом дискурса на форме вещей, его двусмысленной властью отрицать и удваивать» [6, с. 47]. «...старинное тождество между сходством и утверждением...Магритт действует через разъединение: разорвать между ними связь, установить их неравенство, заставить каждое из них вести свою собственную игру...» [6, с. 55].

³ Если обратиться к другой культурной традиции, с ее запретом на образ и его почитание, то, например, в поэме знаменитого суфийского поэта XI-XII вв. Фарид ад-Дина 'Аттара «Илахи-наме» говорится о чаше, *показывающей* весь мир: «в ней чего ни ищешь – все увидишь», «прекрасное зеркало, в котором отражаются все пределы мира», «Если попадет ко мне в руки такая чаша, для меня высота неба станет низкой. Тайны всего мира будут мне явлены – многое мне, невежде, станет ведомо». Сыну, возжелавшему такую чашу, Отец сказал: «Тебя одолела жажда величия. Твое сердце потому требует этой чаши, что когда ты будешь обладать всеми тайнами, ты возвысишься над всем миром». Традиции иконоборчества и запрета идолопоклонства находят свое обоснование в той экспансии, которая ведет от контроля над тем, что доступно взгляду, к иллюзии всевластия. «Око власти» Фуко, Паноптикум Иеремии Бентама.

эффектны выступления политиков и официальных лиц в Твиттере, их безответственно намекающие посты в Фейсбуке и обворожительные картинки в Инстаграме, наконец, сколь действительны в отношении массового сознания *молниеносные* видео- и фото-сообщения «с места событий» в прессе и по ТВ для достижения мгновенного политического эффекта, сколь легко мы смешиваем медиа-маневры с реальной военно-политической обстановкой и положением вещей. (Вспомним недавний 23.06.2021 сюжет с эсминцем Великобритании Defender, который незначительно нарушил границы России в Черном море, что постфактум можно квалифицировать не более как медиаповод, бередящий воображение сторон и вызывающий волны взаимных информационных атак). Точно так, как нас упреждает Магритт, что это всего лишь изображение трубки на картине, но не она сама. (Однако, если пройти чуть дальше по тексту М.Фуко, то он призывает нас еще различать *подобие* и *сходство*: имитирующее подобие, даже перенесенное в другой медиум, математически точнее. Например, подобие просоленного «морского волка» и ряженного в амуницию и военный мундир бюрократа. Или сходство, например, упреждающего мышления философа и опережающего мышления стратега, хотя подобия нет: один стремится к мудрости и ищет истину, а другой идет путем хитрости и обмана; один всем дружелюбен, а другой нацелен на уничтожение врага; наконец, философ о Слове, а воин – о Деле. Подобие покоряет быстрее и эффективнее, воздействуя через зрение на способность воображения. О сущностном сходстве приходится размышлять и догадываться). Спросим себя, похожа ли командно-штабная игра на настоящую войну? Не более чем карта на территорию, ибо изъята экзистенция – страх, смерть, боль и все заполняющая ненависть к врагу, наконец, нет трения, как сказал бы Клаузевиц.

Новый тип медийных войн, основан на борьбе за воображаемое. Визуальный коммуникативный слой оказывается в первую очередь объектом манипуляции [II. § 3]: имиджевые войны стали в современной высокоскоростной информационной среде крайне значимой частью военно-политической жизни. Хотя традиционно в военном искусстве были распространены ложные сведения (о численности армии и техническом оснащении), и предполагать преувеличение или преуменьшение военной силы (за счет «картонных мечей» или маскировки) всегда следовало, но в медиасреде, анонимной и всеобщей, имиджевое воздействие приобретает не сиюминутный психологический эффект, а становится длительной «стратегической» работой, исподволь изменяющей публичное мнение, воспитывающей и трансформирующей самостоятельной силой. Воздействуя на воображение, образы ведут к подобному им чувствованию и мышлению, меняют мировосприятие и формируют «картину мира».

Если мыслить в *долгосрочной перспективе*, то зримый образ столь же важен своим символическим эффектом и вызываемым аффектом, сколь важны в культуре ритуалы и церемонии, парады и литургии, а также встроенные в них знамена, вымпелы и флаги (инсигнии и регалии). Казалось бы, образы (*imago*) не противопоставлены суровой правде действительности, они дополняют ее до комплексного и целостного проживания мира. В воображении они могут предшествовать событиям и оказывают влияние на их ход. Творить образы, создавать метафоры, – искусство, требующее знания контекста и традиции, культурных стереотипов, вместе с расчетом на актуальное воздействие на тех, кто эти образы «читает» и воспроизводит. Образ – неотъемлемая часть всякой культурной практики, во взаимодействии с языком, с жестом, с содержательным смыслом. Изымать его как изолированный компонент, как визуальную ипостась – это неизбежно упрощать, сводить многомерное к одномерному (как и Слово, звучащее и интонированное здесь и сейчас, невозможно в его перформативном значении редуцировать к голой схеме). При всей важности работы с имиджем не стоит упускать из виду всей глубины и многозначности, таящейся за плоской поверхностью иконического. Соответственно, производство будь то иконы, будь то имиджа, требует работы *понимания*, интерпретации, адекватной *времени* и *пространству*, и *исполнения* смысла. Одного ремесла, мастерски штампуемого «матрешки», недостаточно. Кому как не людям древнего и сложного

искусства кораблевождения и военного дела, зависящего от ветра удачи, это знать? Ремесленное воспроизводство штампов, безусловно, важно, как важны имитация и симуляция живого дела по заведенному образцу и матрице, как необходимо и доведение до ритуального автоматизма (когда традиция «работает» в человеке помимо его осознания, а «борьба за живучесть» вписана в дисциплинированное и натренированное тело до долей секунды на реагирование). Но этого «воспроизводства» мало для живого развития и адекватное динамики культуры во всей ее полноте. Элемент технологичности (алгоритма) налицо во всякой культурной практике, – будь то в военной, или в социальной, – также как и элемент техничности – будь то техники тела, будь то техники навигации или лоцманское искусство. Но не стоит забывать об исходном значении слова «техника» – это не только искусность, но и хитрость, ситуативная и прецедентная ловкость, мастерство⁴, предполагающее творчество, вариативность, свободное совершенствование.

Картина Магритта, сочетая в себе и противопоставляя образ и слово, являет нам, во-первых, меру доминирования зрения: мы меньше доверяем словам, мы начинаем рефлексировать из-за их *несоответствия* образу. Магритт предвосхищает *иконический поворот* в культуре, когда продаются и эксплуатируются образы: образы «бросаются в глаза», конструируют эмоции, формируют смыслы, консолидируют группы людей. И, во-вторых, Магритт обращает нас к себе самим, мгновенным диссонансом слова и нашего визуального опыта, он принуждает нас как зрителя вступить в диалог и спросить себя: кто выносит *суждения*? Кто *решает* и что такое человек, который выносит решение (об истине)? Магритт сталкивает зрителя с самим собой как человеком. (Забегая вперед, скажем, что здесь возникает необходимость Другого, признающего наше решение: принимающему решения командиру нужен философ с его суждением. Подробнее II. § 5.)

Итак, зададимся тем же вопросом в случае военного искусства: что такое человек, который не ремесленник в военном деле, – не бездушный инструмент, несущий уничтожение и разрушение; не машина покорения чужой воли? В чем его латентная двойственность, сохраняющая в нем человека в нечеловеческих условиях (в борьбе за смерть/жизнь)? Он профессионал, поскольку владеет техникой и технологиями, он дисциплинирован и вписан в военную культуру человечества, в традицию Воинства своего Отечества, и он умелый в своем деле. Но ремесленность – не исчерпывающая характеристика военного дела и военного искусства. Военное искусство как умение *выигрывать время* у врага предполагает, конечно, шаблоны и схемы, навыки, знание множества хитростей военной практики. Но одной ремесленности мало, как мало и чисто теоретического знания, как мало и «голового» боевого опыта. Сложность, востребующая философской рефлексии, состоит в том, что в военном искусстве соприисутствуют одновременно две серии событий: встречаются человек с человеком, и человек встречается с самим собой.

Есть виды деятельности, которые без восстановления доброго имени не могут обойтись – без оправдания, без реабилитации достоинства человека, без воскрешения души. Это значит, что в них неразъятно встроены и принципиально необходимы символические акты: Слово, жест, церемониал, парад «во всем белом», демонстрация чести и славы. И речь идет вовсе не об *имиджевой* (показной) стороне, а о неотъемлемой части, присущей военному делу: оно остро *нуждается* во внешней моральной оценке, также как военная организация в целом нуждается в легитимации (недопустимы неопределенные *акторы*, совершающие вооруженное насилие без страха и упрека). И, соответственно, это существенная (имманентная) часть военной культуры, фундирующая ее целостность и преемственность (это не «картинка», даже если выглядит

⁴ Τέχνη (греч.) (технэ) – 1) искусство, ремесло, профессия; 2) мастерство, умение; 3) хитрость, уловка, интрига; 4) способ, средство, прием; 5) произведение, изделие (Древнегреческо-русский словарь). Обратим внимание лишь на то, что греческое «технэ» ассоциировано с творческим, *созидательным* началом.

гламурно)⁵. То, что гарантированно может остаться после разрушительной работы (ремесла) войны, после не созидательного по направленности уничтожения и разрушения, это символический ряд – воспроизводимая или имитируемая свернутая форма. Парад вместо артефакта.

Военное сословие нуждается в признании со стороны общества, и оно остается одиноким без такого признания. Если за любого ремесленника говорит изделие его труда (артефакт), и любого ремесленника его труд развивает как человека, утончает чувства вместе с ростом искусности, то, что остается после героизма, что становится *продуктом* в случае военного дела, как этот «продукт» влияет на человека (инвалидное и раненное тело ведь неизменный спутник безвозвратных потерь)? Об этом в литературе достаточно сказано. Военное искусство не может быть «просто ремеслом», поскольку без необходимой уравнивающей *идеи служения* не останется человека с его человеческим достоинством: воинственный настрой ума сминает не только врага. И только *возвышенное*: мысль о служении, влекущая к доблести и чести, идея призванности к службе на общее благо и самопожертвованию, – спасают личность в человеке. А церемонии публичного чествования оказывают поддержку (ветеранские организации крайне важны также в спасении героя от самого себя). (И горе всех побежденных в том, что они лишаются права на это чествование, что ведет их зачастую к реваншизму.)

Как непредсказуемы результаты (исход) войны по своим социальным последствиям (демографические проблемы, психологические и исторические травмы, социологические эффекты и проч.) – ведь в войне, по словам классика, достигается *политический* смысл (и только!), – так же непредсказуемы и последствия выбора этого «ремесла» в экзистенциальном ключе. Безусловно, есть военная культура, специфичная для определенного народа; есть передающаяся традиция, однако, это «работает» только при воплощении (здесь и сейчас) идеи служения (не при наличии финансовых средств, хотя они необходимы⁶). Что станет с конкретным человеком в результате активной фазы его деятельности – это дело заботы воинского союза, если он хочет себя сохранить (у нас есть несправедливый прецедент непризнания в обществе ветеранов афганской войны, например). Результатом отсутствия заботы об отслужившем человеке становится неверие и утрата в обществе идеала служения. Потому двумя сторонами

⁵ Возможно, в воинском союзе следует говорить о неразличимости означающего и означаемого. Четкой границы нет, ибо сам экзистенциальный вызов, предельная ситуация между жизнью и смертью, сминает границы и приводит к конвергенции. Обращая тезис Ролана Барта, – что разрушение знаковости приводит к выдвиганию на первый план моментов экзистенциальных, – в воинском союзе, напротив, голая жизнь приводит к отмене знаковости. Знак магическим образом смешивается со значением. Меня всегда удивляла преданность знамени (полка, части, армии) или благоговение перед звездами на погонах. Это не фетишизм и не идолопоклонство, которые случаются как наделение неадекватным весом при четком разделении означающего и означаемого. В Воинском союзе обстоит иначе: поклонение знамени тождественно поклонению жизни).

⁶ Нам сложно понять военное дело все же без размышлений о деньгах (*soldo* ландскнехтов и наемников). Всем размышляющим о чести хотелось бы посоветовать начать с денег как универсального медиума всех войн и всех народов. «Деньги – это прекрасная неизменяемая мобильность, циркулирующая от одной точки к другой, но переносимая на себе очень мало. Если цель игры заключается в том, чтобы собрать достаточно союзников в одном месте, чтобы изменить убеждения и поведение всех остальных, то деньги, пока они изолированы, являются слабым ресурсом. Они становятся полезными, когда сочетаются с другими устройствами записи. Тогда различные точки мира могут перемещаться в контролируемой форме в то единственное место, которое и становится центром... Вместо того чтобы говорить о торговцах, государях, ученых, астрономах и инженерах как имеющих какое-то отношение друг к другу, мне кажется, было бы более продуктивно говорить о «центрах калькуляции». Важны не денежные единицы их расчетов, а тот факт, что они рассчитывают только с помощью записей и в этих расчетах объединяют записи из самых разных дисциплин», – пишет современный философ и социолог Бурно Латур. Не стоит фетишизировать деньги, как не стоит их недооценивать. «Сами по себе вычисления менее важны, чем то, как они собираются в каскады, и та странная ситуация, в которой последним записям верят больше, чем чему-либо еще». Интересно в подходе Латюра то, что он ставит в один ряд деньги, карты, чертежи – все то, без чего немисливо ремесло войны. С помощью денег «можно накапливать, подсчитывать, отображать и перекомбинировать все положения дел. Деньги не более и не менее «материальны», чем карты, технические чертежи или статистика». Деньги дают возможность универсализировать разнородные силы, средства, мотивы войны. Как и «ремесло войны», категория «деньги» ничего не объясняет и не является ключевым элементом. Но без них мы не могли бы собрать воедино эту разнонаправленную картину, не смогли бы в принципе собрать картину, погрузившись в хаос материи войны. «После признания заурядного характера денег их «абстракция» уже не может быть объектом фетишистского культа. Например, встает на свое место важность искусства учета, как в экономике, так и в науке. Теперь деньги интересны не как таковые, а как один из типов неизменяемых *мобильностей*, связывающий товары и места». [7]

одной медали являются: 1) признание ценности службы как таковой (а не только пафос патриотизма) и уважение самооценности культурной практики Воинского союза; и 2) чествование, психологическая поддержка и реабилитация тех, кто служит и отслужил. Доблесть⁷ как возвышенное у Канта является основой *длительно формируемого* (в культуре и в конкретном человеке) чувства Долга, которое связывает надежнее всяких соображений корысти. Но она же, вмененная социально и ожидаемая сообществом, а не лично изнутри учрежденная, заступает на место достоинства в форме ответственности, готовности держать ответ и выдержать вызов. Таково достоинство Отцов церкви и отцов народа, пастырей, взявших на себя ответственность за социум.

В нашем соотнесении (и скреплении) образа и понятия, *imago* и *idéa* (идея), наконец, ремесла и служения, скажем несколько слов в оправдание представлений о ремесленности. В военном деле ситуация «вот» не может быть одновременно *представлена* (репрезентирована) и *действена* (как нельзя два раза кряду рассказать анекдот или дважды провести врага одной военной хитростью, как невозможно «в одну реку войти дважды»). *Эффективность* военного искусства прецедентна: хотя и содержит элементы ремесленности, но не может быть гарантированно и шаблонно рассчитана (ни одна из разыгранных командно-штабных игр не состоится в доподлинной реальности; ни одна заготовленная карта «не бьет» возникшую боевую ситуацию). Также как на картине Магритта: образ эффектно явлен – «вот я», вот эта трубка. Тогда как подпись безапелляционно гласит нечто иное: тревожащее «нет, это не так». Слишком общее (принципы, законы войны, планы) не свершается буквально⁸.

Приведем пример из истории военно-морской мысли. Один из ведущих теоретиков, профессор и позже начальник Военно-морской академии, Борис Борисович Жерве, старающийся в своих лекциях максимально уточнить значение ключевых терминов, в одной из лекций обращается к ключевому для военачальника понятию «план». Он напоминает, что значение этого слова – «изображение предмета в прямоугольной горизонтальной проекции, причем лист бумаги принимается за горизонтальную плоскость. Каждый план должен удовлетворять *верности, ясности и полноте*». И далее Жерве пишет о творческом характере мышления всякого великого полководца/флотоводца: «Суворов также (как Наполеон) относился отрицательно к методичным, далеким от жизни, все наперед предусматривающим планам военных стратегов... Суворов зачеркнул крестом записку (венского кабинета – Гофкригсрата) и написал снизу, что начнет кампанию переходом через р.Адду, а закончит – где Богу будет угодно». (Знаменита также более радикальная фраза Наполеона: *Je n'ai jamais eu un plan d'operation*). Это, собственно, и есть умудренное понимание различия между картой и территорией. «Несчастливая мания все предвидеть, все комбинировать на бумаге и направлять из кабинета каждый шаг главнокомандующего, – дорого обошлись Австрии, когда ей пришлось вступить в долголетнюю борьбу с революционными французскими армиями», – пишет он критически [5]. Б.Б.Жерве полемизирует с другим профессором и бывшим начальником академии, Михаилом Александровичем Петровым (публичные обсуждения 1928–1929 гг.): один утверждал вариативность, а другой настаивал на неукоснительности генерального плана. Тем не менее, продуктивность в соотнесении, в интегрировании двух (как на картине Магритта): хотя карта не тождественна территории, а план не равен военной кампании, но и военачальник несводим к своей функции. Это не ремесло.

⁷ ἀρετή (арете) – греческий эквивалент доблести (преимущественно воинской) и достоинства, включающий несколько элементов, в том числе умеренность, сдержанность и справедливость.

⁸ «... военное дело требует не одного только знания основных начал (принципов) военной науки, но и умения провести их в жизнь. Всякий общий принцип до крайности прост, и потому кажется легким для применения; однако, та же военная история, которая своим тысячелетним опытом указывает на существование этих общих принципов, подтверждает и другое повторяющееся явление: эти простые общие истины, кажущиеся такими легкими для понимания, постоянно нарушаются многими при каждом военном столкновении. От знания к исполнению только один шаг, но шаг этот, по-видимому, очень труден. Вот почему задачи теории стратегии нельзя ограничить только уяснением основных принципов военного искусства» [8].

Ойкос: хозяйствование в военном деле

Если обратиться к военному искусству как деятельности, то это не творение образов, не удвоению мира в «картине мира». Создавая образ, сходный или подобный реальности, искусство удваивает мир в художественной рефлексии. Тогда как военное искусство имеет дело с миром как таковым, с территорией, а не с «картой». Военное искусство создает *события*, связанные с уничтожением противника. Несмотря на его разрушительную направленность оно невозможно без базовых условий, – без систем жизнеобеспечения и жизнеустроения. То есть, когда речь идет об *экономике* военного дела, то речь не о плате за уничтожение врага (*soldo* солдата), а речь об *ойкосу*⁹, жизнеустроении в общем военном Доме.

В позитивном ключе проблема связана с представлением военного дела (и, прежде всего, военного управления) как своего рода *хозяйствования*. Мы можем говорить о Домострое в случае созидательного ведения Дома хозяином, подобным же образом можно говорить о кораблеводении, при этом военно-морское искусство понимается как искусство управления всем этим хозяйством в особых условиях противостояния (со стихией и с врагом). Речь о ведении военного дела в терминах хозяйствования кажется нам продуктивной в особом случае, когда нет надежных опор суши¹⁰, нет твердыни правопорядка, ориентиров и границ.

При этом военное управление в стихии моря следует понимать не в политическом смысле, а в смысле *ойкоса*, с приписываемым ему значением хозяйствования, ведения общего, *экзистенциально* значимого дела с общей целью, то есть в смысле благоустроения, упорядочивания жизни, слаженности и согласованности. Забота о Доме, хозяйствование, – греки говорили «ойкос», имея ввиду власть мудрого правителя и благого Бога, власть отца семейства и домовладельца, спасающего и сохраняющего вверенное ему хозяйство, держащего суверенно ответ.

Понятие «ойкос», к которому вновь привлекает наше внимание в связи с рассмотрением феномена власти Дж.Агам-бен [1], складывается раньше понятия европейской рациональности, то есть *логос* уже генетически исходит из этого обустройства общего Дома. Учитывая то, что рациональность (и представления о ней) может быть разной, исторически и культурно изменяемой, *ойкос* представляется более фундаментальной, экзистенциально укорененной категорией. В сегодняшней ситуации изменения типа господствующей рациональности (в сторону медиарациональности), в кризисной ситуации «переоценки ценностей», важно «вывести» военное хозяйство из под доминирования слишком динамичной медиаполитики и политической конъюнктуры¹¹. Поскольку политика, втянутая в тяжбы информационно-медийного и развлекательно-потребительского характера, вносит дополнительный разлад в военное хозяйство, которое, как силовая, связанная с деятельностью компонента менее динамично. Господствовавшее прежде классическое представление об армии как инструменте политики здесь не подвергается сомнению, также как и приоритетность рациональных мотивов в деле ведения войн (но сегодня сама политика перестает сохранять за собой статус рациональной инстан-

⁹ «Власть на Западе приняла форму *ойкономии*...» [1, с.9] (Под ойкономией понимается домовладение, хозяйствование, домоуправление. Ойкономия от греч. ойкос – дом, номос – право, управление домом, хозяйством).

¹⁰ Карл Шмитт, противопоставлявший сушу и море, называя землю матерью права, начинает свою работу «Номос Земли» (1950) словами: «Земля трояким образом связана с правом. Она хранит его в себе как награду за труд; она обнаруживает его на своей поверхности как четкую границу; и она несет его на себе, как публичный знак порядка. Право восходит к земле и связано с землей. Море представляет собой свободное поле для вольной добычи» [10, с. 9].

¹¹ По мнению А.А.Свечина, «господство политики над стратегией не подлежит никакому сомнению», однако «Стратегия естественно стремится эмансипироваться от плохой политики, ... (ибо) обречена расплачиваться за все грехи политики» [9]. Но политика, погруженная в глобальную медиастихию, поневоле становится «плохой»: она иначе разворачивает и реализует себя в контексте дигитализации разума, перестает быть традиционной политикой, а становится имиджевой, сценически батальной, даже беспредельным шоу-баттлом. Политика деконтекстуализируется, теряя связь с реальной жизнью на медиаарене, а это значит – забывает об ответственности, которая всегда локально и конкретно обусловлена.

ции в медиамире – например, теряют легитимность и ответственность высказывания политиков и государственных деятелей в социальных сетях). Однако устойчивость военной системы как целого (хозяйства) совершенно необходимо удерживать, в том числе для того, чтобы не пасть жертвой скороспелых (твиттерных) решений политиков. (О неразличимости медиавойны и медиаполитики подробнее в II. § 1).

Автономия военной системы в деле подготовки своего управляющего состава отнюдь не ведет к милитаризации или опасной политизации армии (с претензией на монопольное владение силой), но напротив как самостоятельное ведение своего хозяйства с полной за него ответственностью и подотчетностью суверенной нации ведет к укреплению ее авторитета и значимости, к благонадежности ее людей и доверию к ее профессионалам в условиях усложнившейся техники, наконец, к устойчивому развитию и совершенствованию военной культуры, к качественному образованию военных. Предельная специализация, произошедшая в техническом отношении, требует автономных экспертных оценок, неподотчетных доминирующей и контролирующей бюрократической инстанции. Долго господствовавший сначала идеологический контроль власти над армией, а потом политическое давление показали ущербность слияния в «политико-военный» комплекс и привели к огромным потерям из-за необоснованных решений политическим руководством. В военном образовании мы видим повсеместно бюрократизацию в стремлении усидеть на двух стульях: удовлетворять одновременно оправданные требования самой военной практики с ее деятельностным подходом, и требования универсального характера, исходящие от общегражданских образовательных институций с их компетенциями как сущностями вне конкретной деятельности.

Искусство отсылает к суждению вкуса, а военное искусство нуждается в этической оценке, и этим отличается от всех других наименований, причисляемых к искусствам. Военное дело – отдельная, вне всяких аналогий, сфера социальной жизни и особая культурная практика (подробнее в II. § 4.), – и это нужно принять как аксиому тем, кто сегодня занимается военным управлением. Сохранение самобытной военной культуры гарантирует от того, чтобы стать ремеслом безмысленного исполнения приказов, удержать достойное имя стратегии как искусства в усложнившихся и гибридных военно-политических отношениях. Сегодняшняя ситуация с ее тонкой системой взаимосвязей и взаимозависимости принуждает думать не о мгновенном эффекте операции и достижении победы (смысл которой также усложнился в диверсифицированном по уровню развития мире). При современном оружии «блицкриг» катастрофичен. Это осталось в прошлом. Современный стратег не должен воображать себя ремесленником наподобие античных плотников (или «машиной смерти» наподобие модернистских армий), а думать и о демографических, и об экологических, об эпидемиологических и об этно-культурных последствиях. Уровень современных средств и техник поражения заставляет думать не о *пространстве* и доминировании в нем, а о том, чтобы сохранить *время* жизни, это значит, думать о благом, разумном долгосрочном хозяйствовании.

Это хозяйство в случае моря и изолированного бытия на море – в прямом смысле Дом, ибо люди бесприютны в чужеродной стихии. Две стихии, войны и моря, формируют особую военно-морскую культуру, и корабль издавна выступает приютом, а управление кораблем – домоустроением. Однако в отличие от семейного дома военный корабль не нацелен на процветание с имманентной целью в себе, цель его располагается вовне (политическая). Устанавливая водораздел, традиционно изолирующий военную систему (вспомним, что у Платона стражники отдельно воспитываются и отдельно живут), скажем, что «ремесло» уместно при назывании извне. А изнутри – это *искусство*: искусство выживания и выигрывания времени. Когда же для военного война становится ремеслом изнутри («кровожадные духи войны не дремлют», – сказали бы нам народы, близкие к архаике), то это ведет к цинизму, ибо превращает человека в машину по производству смерти и уничтожения, в голый инструмент, исполненный ненависти без прощения ее любовью. Для человека крайне важен сакральный модус

бытия, который состоит в том, чтобы посвятить себя делу защиты и заботы, исполнения долга и реализации *призвания*, ведущего к ответственности за жизнь социума. Долг же перед обществом – вмененный долг защиты, и общество всегда может востребовать этот долг. Но не долгом единым жив воинский союз. Есть в этом призвании свое возвышенное – особая доблесть мужчин. Потому и принято говорить о воинском союзе как мужском союзе.

Остановимся на еще одном моменте, связанном с характером единения в этом Союзе и соответствующим типом управления. Следует различать такие понятия как братство, корпорация, цех (что сегодня актуально в связи с активным использованием ЧВК). Не исключая того, что военная организация государства, его армия и флот, содержит черты и корпорации, и цеха, и института, основным (принципиальным и основополагающим) для воинского союза (и в особенности для флота) является все же братство (товарищество). И связано это с особой ситуацией перед лицом смерти, уравнивающей всех. Для *корпорации* характерно, прежде всего, то, что она является юридическим единством и имеет общего собственника (корпус собственников), а профессионально это может быть гетерогенный состав. В случае управления корпорацией говорят об *администрировании*, власть делегирована назначенным *менеджерам*. Для *цеха* характерно, напротив, профессиональное единство, ремесленная общность. Управляться цех может выборной ассоциацией авторитетных членов, Советом экспертов. Подчеркнем на этом фоне, что воинское *братство* (товарищество) является сущностно значимой добавкой к корпоративному и цеховому единству, ибо связывает людей *экзистенциально*. Не столько собственность (добычу, трофеи) готовы *разделить* люди друг с другом, и не столько профессиональную задачу, сколько смерть¹² (славу и честь). И складывается особый тип управления – командование (этимологически связанное с «рукой»: от лат. *mandare* – посылать и давать приказ, *поручение* и *вручение* абсолютной ответственности) и начальствование, вождение войска/ кораблевождение (связанное не только со способностью положить *начало* (от греч. ἀρχή (архэ) – «начало, принцип»), но и *спасти*, сохранить. (Подробнее в III. § 5, метафора двуруккого командира: левая отвечает за поручение, принимает единолично за всех приказ, а правая наделена абсолютной ответственностью за спасение). Принцип этого командования – единоначалие, он в своем конкретном ситуативном исполнении отличает воинский союз от корпорации и цеха.

Ремесленная компонента военного искусства связана с материей войны, предельно напряженной и подвижной, но материальная причина еще не исчерпывает всей полноты военного дела и военного управления. Война творит своих людей: трансформирует их, интенсифицируя только часть спектра эмоций, мобилизуя и выжимая силы и ресурсы. Тогда как военное *администрирование*, обеспеченное бюрократическим аппаратом, функционирует неспешно и непрозрачно, подобно черному ящику производит документы. Администрирование более связано с системным насилием, обеспечивающим бесперебойность функционирования системы (тогда как война, по Клаузевицу – акт насилия с высшей интенсивностью) но не с личным усилием и выходом на поверхность экзистенции. Наше исследовательское внимание сосредоточено на проявлениях «человека командующего» не в системе военного управления и не в боевой системе, а в материальной стихии войны/моря, в ситуации господства *превышающих* сил и интенсивностей, сбивающих с ног и ввергающих в хаос логику системного мышления.

¹² «Я называю техникой *традиционный действенный акт*... (последний воспринимается автором как акт *механического, физического или физико-химического* порядка). ...Первый и наиболее естественный технический объект и в то же время техническое средство человека – это его тело». [4, С. 248]. Ссылаясь на М.Мосса, современный немецкий антрополог Я.Таннер усиливает его мысль: «Техники тела, социальные практики и символические действия взаимно предполагают друг друга». Соответственно, вынесенная вовне техника (как продолжение тела), техника инструментальная, в том числе вооружение, предполагает связь с соответствующими ей социальными практиками и символическим содержанием. Наши технологии, как говорят медиатеоретики, оказывают влияние на нас самих.

С точки зрения *системы* военного управления, предполагающего строгую иерархию и логику построения элементов, военное искусство также не ремесло, поскольку идея ремесленности предполагает рукотворную вариативность и гибкость, адаптивность к материалу, месту и времени. Система же потому и управляема, что жестко фиксированы структуры порядка и способы подчинения (повеления и повиновения), строго заданы границы и определены полномочия. В технологично (алгоритмически) сформированной системе не заложена противоречивая в себе идея *спасения/самопожертвования*, и, следовательно, отсутствует трансцендентное измерение (не пустяк для человека-командира и для воинского союза в целом). В военно-морском искусстве (и в кораблевождении, и в социальном управлении, и в искусстве ведения боевых действий на море, лишенном тверди границ) есть внеположенная цель. Идея спасения состоит не в «голом» выживании, но в выполнении миссии – защиты Отечества и столпов справедливости мироустройства, Скрижалей и Ковчега. В военно-морской службе это все воочию и непрерывно явлено. Без причастности трансцендентному чистое исполнение задач – под силу и искусственному интеллекту, и частной компании (без справедливости, «без страха и упрека»). Человеку же, между Богом и машиной, для достоинства его бытия важны личная ответственность и сопричастность – доблести и чести, славной истории, процветанию общества. Все это обретает в «управлении Домом бытия» возвышающий смысл. И это управление, благое и достойное, предполагает непосредственное и неотступное усилие спасения Другого, формирует фигуру *«благословенного командира»*.

Тем не менее, о ремесленном аспекте уместно говорить в том смысле, что хозяйствование «напрямую» не руководствуется высшими идеями блага, красоты, добра (что точно согласуется с Мандельштамом: «красота – не прихоть полубога,/ А хищный глазомер простого столяра»). Оно связано с умелым жизнеобеспечением. Это формирует особый тип экзистенции: личность командира, неразрывно интегрирующую в себе индивидуальное и общее – свое *призвание* и социальное *признание*. Само управление силами как система мероприятий, как целенаправленная деятельность по организации и упорядочиванию (ойкос) оказывается вне моральных категорий («проклятая», «скверная», «бессовестная» сторона сакральной власти, без права моральной оценки – подробнее см. III. § 1, а также язык мата – IV. § 6). Война на уровне социального блага может быть осмысленна, что не говорит о ее справедливости и не ведет к экзистенциальному согласию с ней конкретной личности. В этом сложность и балансирование военного руководителя: функционально (как цеоерациональный инструмент политики) он *должен* быть вне морали, но как человек он не *может* быть вне морали – без терзаний совести, без чувства греха, без потребности в раскаянии, исповеди, прощении. Это значит, что ему предстоит сохранить идею блага/добра/красоты как внутренний мотив, тогда как его служебная деятельность только целесообразна (вне суждений и оценок этики). Но целесообразность вопреки оценочным суждениям – это только личная ответственность командира. Все остальные подчиненные освобождены от этого внутреннего разлада (проклятия сакральной власти – удерживать в себе и собой противоречия): неукоснительно выполняя приказ командира, они могут позволить себе сохранить душевную мягкость, милосердие, сердечность, и, соответственно, суждения вкуса (без обязанности к голой целесообразности, к неподъемному для разума внутреннему расколу, на который бывает обречен командир в момент суверенного решения). Таким образом, командир принужден к своеобразному абсурду: он не может по своему предназначению быть иррациональным, функционально он должен быть только цеоерационален; но вместе с тем, как человек он не должен быть бесчеловечен, то есть сохранить в себе иррациональность, характерную для всякого морального суждения и душевного действия. Возникает эта альтернатива: бесчеловечен (аморален) или абсурден (примирая иррациональную совесть и рациональный служебный долг). Образуется сложная личность, скрешивающая общее и личное: мораль личную и справедливость коллективную; политическое задание и хозяйственное начало. В этом состоит особый вызов, стоящий перед командиром и требую-

щий «масштаба личности», особенно в столь сложном случае как изолированная и автономная служба в условиях подводной среды.

Рука ремесленника и дистанционный пульт оператора

Наконец, это не ремесло в актуальной ситуации, поскольку нет того устойчивого контекста, в котором было бы возможно определить ремесло, нет тех правил, по которым мы могли бы идентифицировать ремесло как ремесло¹³. Чем вообще определяется ремесленность? Тем *цехом* (социальным институтом), который его ставит «знак качества». Тем *заказчиком* (потребителем), к которому ремесло целеустремлено. Теми *правилами*, которыми оно руководствуется. И наконец, тем *материалом*, с которым оно имеет дело. Если последовательно рассмотреть эти четыре определяющих момента, то мы получим следующую картину: 1) социальный институт сегодня дефрагментирован, рассредоточен: это и следствие высокой специализации, огромной зависимости от технических средств и технологий (вместо воина мы имеем дело с оператором в бесконтактной военной операции), и, более того, в пределе операторы за компьютерным монитором (медиакраты) между собой имеют больше общего чем специалисты разных родов войск; 2) что касается заказчика, то девальвирована в ситуации гибридных войн политическая субъектность: частные военные компании подрывают представление о легитимности воюющих сторон, превращая всех участников боевых действий в акторов. Мы не имеем дело с двумя противоборствующими субъектами, скорее речь о «войне всех против всех». Важным моментом является отсутствие фиксированной субъектности Врага в современной войне (врага в политическом смысле по К.Шмитту [11] – как высшая степень интенсивности противостояния). Враг сегодня не определен, мерцающий и мигающий, «спящий», дисперсный как террористические группировки (со всеми вытекающими последствиями: невозможность концентрированной ярости и тотальной мобилизации); 3) что касается правил ведения боевых действий, то в гибридной войне «все позволено», и все средства допустимы, она включает иррегулярные формирования и асимметричные действия. Едва ли осмысленно говорить о том, что современное противоборство, включающее разнообразные санкции и операции в информационном пространстве, ведется по строго рациональным законам; 4) также как современный художник ничем не ограничен в выборе художественных средств, и нуждается, прежде всего, в *концепции*, современный стратег, имеющий средства контроля и наблюдения боевых действий онлайн, непосредственно не «объезжает территорию» театра военных действий, ему достаточно множества мониторов. Хотя он имеет дело и не с картой, а с «картинкой» 3-D в прямом включении, все же остается вопрос, *чувствует* ли он столь тонко как полководцы прошлого на поле боя «материю» и «дыхание» войны? Насколько ему вообще ведомы «духи войны» (вполне понятная категория для традиционных ремесленников, чувствующих свой материал, вступающих даже в магическое единство с ним)?

Неопределенность и размывание границ в этих четырех моментах уже ставят под вопрос корректность употребления термина «ремесло» по отношению к военному искусству. Ведь слово «ремесло» этимологически связано с ручным действием – рубить, плотничать, масте-

¹³ Приведу цитату в своем переводе из немецкой Википедии, статья «военное ремесло»: «В современных войнах классическое понятие *военного ремесла* как *знания вооруженной борьбы и убийства* уходит на задний план. Почти все современные армии избегают ближнего боя и слишком тесного соприкосновения с врагом. Насколько возможно ситуации непосредственного боя, в которых дело идет о жизни и смерти, обходятся с помощью других техник (ведения противоборства). ... К военным ремесленным знаниям относятся сегодня знания преимуществ и недостатков видов амуниции и типов вооружения, эффективных способов его использования, обращения, взаимодействия и инсталляции в боевой ситуации, учитывающие возможности противника. ... С развитием систем вооружения и стратегических подводных лодок военная техника стала столь развитой, что может быть обслуживаема только специалистами, которые никогда не вступают в вооруженное столкновение в классическом смысле. На место ремесленника заступает инженер. С развитием дистанционно управляемой техники и техники автономной, беспилотной говорить более о ремесле неуместно. Военное ремесло связано теперь с научной сферой и с развитием и прогрессом военной техники». (<https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegshandwerk>)

речь. В европейских языках русскому слову «ремесло» соответствуют слова, содержащие элемент «рукотворчества»: Handicraft (англ.), Handwerk (нем.), mestiere (итал., близкородств. maestria – мастерство). Наиболее близко к пониманию военного дела как ремесла подходит немецкая традиция осмысления военного искусства. Здесь присутствует элемент рукотворности: Kriegshandwerk, дословно «произведенная руками война», или иначе, «война как продукт, требующий приложения рук».

Сделаем короткое отступление об антропологической значимости руки для человека, поскольку именно освободившиеся в связи с прямохождением руки, из homo sapiens производят homo faber – человека фабрикующего, творящего, инструментально производящего свой мир (своими руками).

Рука

Если обратиться к наиболее древним изображениям человечества, то повсеместно встречается **рука**, вооруженная снарядами: это рука стреляющая, рука меткая, в пределе – рука воина. Отметим, что рука с орудием – это один из основных антропологических признаков. Вместе с тем элементы инструментального **снаряжения** (экипировки) выступают продолжением открытого всей кожей, чуткого и подвижного, тактильно восприимчивого «голового» тела. Тело же цивилизованного человека – это упакованное, изолированное скафандром, тело специализированное, уже не с орудием как продолжением руки, а с кнопкой дистанционного пульта. Усиленные и продленные инструментом/оружием руки, с другой стороны, обеспечивают высокую степень контроля за ситуацией. Вместе с ростом искусности руки растут запреты на использование ее силового ресурса, на рукоприкладство. Оправданным признается целерациональное использование расширенных возможностей руки, ненасильственное («палец на пульте»). «За общественным применением руки выстраивается целая цивилизационная технология. Никакая часть тела не является столь способной к применению орудий труда, к игре, живописи, музыке, письму, счету, указыванию, домашней работе и социальной жестикуляции. В применении руки сказывается уровень цивилизованности личности» [12].

Упомянем также то, что рука воплощает *власть* в акте схватывания и удержания, *обладания*; рука *рассекает* социальное пространство на левое и правое, символически различая свой/чужой, это своеобразная механика *включения/исключения* (сформировано по образу двурукости). О значении *правой* руки писал социолог и антрополог Роберт Герц [4]. В конце концов, *правовое* регулирование, *справедливость*, *праведность*, *правда* и *правильность* связаны с правой рукой, с символическим разделением мира.

Бесконтактность, дистанционность операторов и, как следствие, неремесленность современных войн, незначимость в них разделяющей дуально руки (ведь пальцев десять) ведет антропологически к «забыванию» о необходимости морального решения «или-или», о выборе между правдой и ложью. Всю жестокость «ремесленного» рукоприкладства традиционной войны легко себе представить благодаря «кровавым» киносюжетам: она ставила человека лицом к лицу с феноменами смерти, боли, ненависти к врагу, и с неразрешимостью вопроса о моральном *оправдании* войны. (Где теперь «праведность» разящего Святого Георгия, если воин перед пультом с множеством кнопок как на гармонии. Сегодня угрозы рассеяны в информационной, санитарно-эпидемиологической, химической и экологической сферах. Прямому ручному насилию пришло на смену не менее жестокое дисперсное насилие, без впечатанности в сознание заданного телом антагонизма между правым и левым). Но вот в принятии решения Командиром и сегодня налицо предельная ответственность как оборотная сторона свободы, ведь слово «решение» этимологически связано с корнем «резать» (разрезать, отрывать, как и отрешать, разрешать). Принятие решения на действие (боевого характера) должно сохранять в себе память о всех необратимых в своей разрушительности последствиях ручного

акта «разреза», о непосредственной ремесленности, лежащей в основе рукоприкладства. Суверенное решение в основе своей связано с решением о смерти.

Отказавшись от квалификации военного искусства как ремесла, важно сохранить память о феноменальной стороне всякой войны, избавиться от исподволь проникающей иллюзии «благородного дела» войны. Хотя акты военного управления, как мы показали, связаны с Домоупроением, но не ради мирной сельской жизни, а «на погибель врагам». Военное хозяйство – не космосоустроительное и не космосозидательное, но оптимально способствующее выживанию (особенно в случае столкновения со стихией моря). Оно далеко от идеала созидания и процветания, но без этого идеала животворящей *культуры*, образующего недостижимый горизонт, война – это чистое насилие, нигилистическое разрушение или саморазрушение. С чем трудно примириться, сохраняя в себе человеческое начало. Военные действия – это не компьютерная игра, цель которой игрушечное уничтожение, а командир – не перегружающий игру геймер и не оператор. Ему важно сохранить в себе острое чувство подручности мира, антропологической вписанности в пространство, собственное уязвимое тело. Тело командира не аппарат, а рука его должна оставаться рукой чувствующего материал ремесленника: воина, умеющего держать в руках холодное оружие и воспринимать благоговейно, как ценность, живое, пульсирующее и ранимое тело и трепещущую раны и боли плоть с необратимостью смерти.

Неструктурируемая информация во временном континууме требует искусства и чутья (чтобы не сказать вкуса), личностного потенциала, а не аппаратно-программного расчета, чтобы собрать интегрированную оперативную картину. Именно в этом, в моменте искусности командирского дела заложена та иррациональная, отсылающая к морали основа. Только человек обладает свободой воли, в том числе для отказа от применения власти и силы в той ситуации, когда можно избежать насилия для спасения людей. Этому следует еще научить, об этом необходимо еще предупредить, и от груза этой ответственности еще нужно, при необходимости, человеку помочь себя восстановить. О чем речь, когда мы говорим о восстановлении или воскрешении души в случае командира, который добровольно без остатка сводит себя к исполнению социальной роли? Воин (на службе) – носитель статусного тела, явленного в своих публично приемлемых формах, о нем говорит Гегель, подчеркивая первичность социального перед личным: «Катон может жить лишь как римлянин и республиканец» [2]. Человек, призванный исключительно к служению, ставит себе социально одобряемые цели, исполняя как должно роль на социальной сцене, что не предполагает неуверенности или дискретности, иронии или дистанцирования; не предполагает ни перебоев, ни двойной разметки времени. Амбивалентность социальной маски служения в том, что она как стигма всегда уже дана в *объективном* непрерывном течении времени, в *гарантированности* божественного и(ли) полисного смысла. Смысл служения всегда определен извне, но решение на него принимается личностью изнутри. Несъемная маска прирастает к лицу навсегда, не позволяя личности удовольствия от карнавальности культуры.

Итак, это не ремесло потому, что ремеслу не нужен вне-положенный смысл, продукт ремесла самодостаточен как результат, в нем есть цель в себе. В военном же деле необходимо оправдание извне, социальное признание, осмысленная целесообразность для общества и историческая слава, также как нужны человеку, прошедшему через вооруженное насилие, поддержка и реабилитация, компенсирующая травматический опыт. И это важно, в том числе для того, чтобы основать новую жизнь, найти в себе примирение и обнаружить в себе доверие.

Тем не менее, если вернуться к Посвящению в начале, то интенция признанного коллегиста-стратега отстоять свое «ремесло» – военно-морскую науку, военно-морское искусство, военно-морское дело, – вполне разделяется нами. Уникальное, самоценное всегда утверждается вопреки давлению универсального, вопреки бюрократическому единообразию. И здесь, безусловно, философия выступает в защиту уникальности военно-морской культуры и специ-

фичности военно-морской деятельности, более того, на наш взгляд, следует говорить о самостоятельности ее развития в историческом масштабе, и, соответственно, о некоей сквозной идентичности ее представителей, о культурной памяти, а также о культурной автономности своеобразного военно-морского братства, в особенности в случае относительно молодого подводного флота.

Спасение утопающих и план спасения – это не дело администрирования и менеджмента, не дело бюрократической машины, которая, например, у Кафки, успешно функционирует в центре Европы, вблизи устойчивых скал и надежных стен Замка: в укрытии, в коридорах, под сводами, за закрытыми дверями. Напротив, хозяйствование и домоуправление военно-морского командира, взявшего на себя ответственность за Дом, в котором и боевая задача, и люди, и техника в некоем единстве перед лицом смерти, в стихии моря. И в этом отношении флотский командир сталкивается с особой трудностью, которая состоит в том, что он один является собой Твердь, «сушу» (незыблемость закона у К.Шмитта [10]), является гарантом справедливости, и носителем своеобразного этоса «соли земли».

Resume

Вернусь к Слову, – которое жизненно необходимо выполняющему миссию или обретающему призвание, как нужна молитва всякому молящемуся. Слово – не только слово признания и чествования, не только слово личного дневника (разделяющее тяготы службы и боль исповеди) или поэзии (обещающей красоту вопреки смерти). В случае картины Магритта слово («это не трубка») нужно, поскольку иначе это тривиальный рисунок. Точно также в случае военного дела: слово указывает нам на тот разрыв в нашем понимании, на тот глубинный план бытия, который позволяет нам оставаться людьми. Слово может даже не богоугодное дело превращать в честное служение, если только это Слово не девальвировано (в информационной войне изолгано), не «заболтано» (лицемерными фразами пропагандистов). В наших человеческих интересах сохранять чистоту, точность и незамутненность наших слов, вызывающих доверие.

Неизбежную ремесленную компоненту военного искусства, истрачивающую и изнашивающую человечность, можно выдержать, только если это призвание, только если человек был *вызван*, чтобы быть защитником Дома бытия, удерживать своими личными силами надежный кров, уберегающий возможность развития. И такая призванность сохраняет человечность воина, позволяет отличать военную хитрость от циничной лжи. И она же сохраняет скромность, меру и стыд, препятствует наслаждению своей силой и могуществом, данной властью. (Замечу, что встреченные мной лучшие командиры были на удивление скромны, неприхотливы, деликатные и тихие в повседневном общении). Сохраняя связность со всей целостностью бытия, уважение к его Тайне (ἀλήθεια, алетейя), которая выше сиюминутных успехов и значительно материальных сил войны, представитель военного сословия может сохранить доверие к жизни и к людям. Поскольку без этого базового доверия теряется осмысленность военного искусства.

Ссылки:

1. Агамбен Дж. Царство и слава. М., СПб, 2018. – 552 с.
2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике, ч.1. Идея прекрасного в искусстве, или идеал // Эстетика: в 4 т. [под ред. М. Лифшица]. Т.1. Москва: Искусство, 1968 – 1973.
3. Маклюэн М., Фиоре К. Война и мир в глобальной деревне. М. 2012. – 219 с.
4. Герц Р. Смерть и правая рука. М., 2019.

5. Жерве Б.Б. Стратегия. Лекции, читанные в Морской Академии в 1919–20 уч.году. С. 42–49.
6. Фуко М. Это не трубка. М., 1999. – 146 с.
7. Латур Б. Визуализация и познание: изображая вещи вместе// Логос, Т. 27, №2, 2017. С. 95–156.
8. Немитц А.В. Очерки по истории русско-японской войны. Лекции, читанные в Николаевской мор.академии в 1909– 1912 гг. Т. 1–2. СПб, 1912. (Сообщение 3, том 1).
9. Шапошников Б. М. Мозг армии. В 3-х книгах. М.-Л.: Государственное издательство. Отдел военной литературы. 1927–1929.
10. Шмитт К. Номос Земли. М.: Владимир Даль, 2008. – 672 с.
11. Шмитт К. Понятие политического. СПб, «Наука», 2016. – 570 с.
12. Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hg. Christoph Wulf. 1997. S. 479–488.



§ 2. Пустота в центре мира: жертва временем

*«...венки терновые носят те, кому не позволяют быть царями себе
самим»
Ж.Сарамаго*

Выделяя разные режимы времени, – *нулевое* божественное, *бесконечное* природное, *хронологическое* социальное, *оставшееся* экзистенциальное, – можно обнаружить, что уникальность позиции жертвы и ее функция состоят в интегрировании всех этих режимов. Сопричастность всем этим режимам одновременно, способность удержать их единство – выделяют жертву. Наши размышления о жертве инициированы стремлением понять предельную самоотдачу командира, время которого без остатка посвящено социальному служению – «не до себя». Совпадение исполненности социального смысла с реализацией своего личного призвания отличает командира.

Варианты разметки времени

Исходная философская интуиция связана с корреляцией времени и смысла, со взаимопревращением одного в другое: искусно превращенное личное время преобразуется в общедоступные смыслы (случай писателя Пруста). А найденный точно, в личном усилии, смысл (замысел) сберегает время жизни социума (фигура командира).

Предваряя размышления о жертве временем своей жизни, рассмотрим различные режимы времени. Их можно дифференцировать следующим образом: 1) «*нулевое* время» – время первостихий или время Кроноса, не дающего развернуться бытию. Запустить время из Ничто – это придать динамику и положить начало смыслообразованию, связанному с конечным существованием, выйти из до-бытийственной и до-временной первоматерии. 2) Для понимания *природного* («объективного») режима времени и 3) *социально-политического* (хронологического) режима, обратимся к Э.Канторовичу с его различением двух тел короля. Король хотя и «имеет природное тело, украшенное и облеченное королевским достоинством и саном; но у него нет природного тела самого по себе, отделенного и отграниченного от королевского служения и достоинства, а есть природное тело неразрывное с телом политическим... Таким образом, природное тело благодаря присоединению к нему политического тела (каковое включает в себя королевские служение, правление и величие) возвеличивается...» [2]. (Запомним это: социальное (служение) затмевает природное (старение). Что будет потом с престарелым Героем? Вернем к этому вопросу в главе 2 части III.)

В отличие от мерного и равнодушного, как накатывающие волны океана, природного, – биологического и геологического времени, – время социальное связано с хроникой славы рода или сообщества, с его исторической памятью, всполохами знаменательных свершений. «Король есть имя вечности, которое будет существовать всегда в качестве главы и правителя народа (как предписывает закон), – столь же долго, сколь будет существовать народ...; и в этом имени король не умирает никогда» пока существует род («Ленин живет всех живых»). 4) И, наконец, время *экзистенциальное*: время, означающее наши радости и страдания, надежды и память, *отпущенное* и *оставшееся* человеку время.

Жертва сопрягает в себе все режимы. «В одном лице я здесь играю многих», – говорит у Шекспира Ричард II в одноименной пьесе. Эти «варианты «умножения» короля» Шекспир развернул в трех образах: короля, шута и Бога, – но всем им придется исчезнуть, когда восторжествует время экзистенциальное, когда в знаменитом монологе в тюрьме он связывает раз-

ные режимы времени¹⁴. От божественной власти короля (без счета времени) к королевскому «имени» (хроники исторической славы), а от «имени» к неприкрытому страданию человека (Ессе Номо/«Се человек») [2]. В рефлексии страдания устанавливается связь времен.

Экзистенциальное время связано с превратностями судьбы, с коловращением страсти и страдания, с обретением смысла и событием Дара/траты. Как сказано об этом у Мандельштама: «Время вспахано плугом, и роза землею была./ В медленном водовороте тяжелые нежные розы,/ Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела». Отведенное человеку время – отмеренное, но нелинейное; емкое, но тугоспеленутое памятью или проектом; сопричастное всегда нежной «душе ребенка» и вместе с тем соразмерное кроваво-тяжкому мандельштамовскому «Век мой, зверь мой». Невесомым временем, то есть неоплаченным поступками и страданиями, кровью и жертвой, будет та или иная форма длящегося и дисперсного времени, переходящего в степень скуки, тоски, ожидания. Вектор осмысленности может быть ему задан мерным *циклическим* природным ритмом (для мирного созидательного, возделывающего культуру землепашца), или *стрелой* традиции, славы и эволюции сообщества (для политического субъекта), или же обещанной *вечностью* бытия с Богом (для верующего человека). Например, гарантирован длящимся временем человек военный, имеющий свое предназначение в службе – в утверждении и защите жизни политического тела народа. Но его собственное тело редуцировано до инструмента власти, теряя значимость других размерностей: природно-биологического, экзистенциально-личного, призванного в обитель божью. Или, например, ветхозаветный Иов, праведная жизнь которого полностью в руках Бога – сам же Иов перед лицом абсолютной божественной воли находится в длящемся времени смирения, дело не доходит до личного поиска и обретения смысла, до Поступка или жертвы, до конструирования какого-то другого времени – природного, социального, экзистенциального. История Иова учит, а военная служба в мирное время ставит перед нами проблему: в чем найти опору в ситуации безвременья, если нет опыта экзистенциального напряжения. Как не сойти с ума от скуки военному или как не взроптать на вдруг падшую на голову несправедливость смиренному Иову. Знание разных режимов времени может быть спасительным. Навык перемещать внутренний взор между разными режимами времени закаляет и укрепляет так необходимое нам самосознание.

Итак, для чего в практическом ключе командиру необходимо знать о режимах времени. Это открывает ему возможность дополнительных степеней свободы, не только для себя, но и для вверенных ему людей. Понимание скрытой жизни сознания, возможности перехода между разными режимами времени дает приращение в критических ситуациях, когда необходимо быстро принять решение. Подобно тому, как зная о жизни звезд, мы хотя и не участвуем в ней, но расширяем свой горизонт и уплотняем свой контекст. Во всяком случае, знание о режимах времени окажет нам помощь, сориентирует в ситуации неопределенности, а главное избавит от догматизма, стереотипов, тотализации одномерных представлений. Дополнительные степени свободы дают возможность ускользания, маневрирования и помогают не загонять себя в угол одной-единственной картины мира. Умение менять разметку времени формирует доверие к себе, дает спасительную цезуру – глоток воздуха – в напряженной деятельности командира.

Отложенное время и точность жертвы

Жертвоприношение становится точкой отсчета Нового времени, будучи как акт вне времени, оно время учреждает (до изгнания из Рая времени ведь не было, даже само грехопа-

¹⁴ Я долго время проводил без пользы, Зато и время провело меня. Часы растратив, стал я сам часами: Минуты – мысли; ход их мерят вздохи; Счет времени – на циферблате глаз, Где указующая стрелка – палец, Который наземь смахивает слезы; Бой, говорящий об истекшем часе, Стенанья, ударяющие в сердце, Как в колокол. Так вздохи и стенанья Ведут мой счет минутам и часам. (Шекспир. Из монолога Ричарда II).

дение все еще безвременное событие, – Бог весть, сколько оно длится). Время жертвоприношения всегда словно бы *еще не наступило*, это длящееся время *подготовки* (кто-то ходит по пустыне, кто-то идет из Вифании в Иерусалим), потому что, когда насилие «развязано», то самой жертвы уже нет в этом Новом времени, она может только быть воскрешаема (воспроизводима в памяти). Нас интересует (в случае военной системы) неопределенное *время подготовки*, о котором парадоксально пишет Гоббс: всякое время подготовки к войне уже является *военным временем*¹⁵. То есть, хотя война еще не началась, до-нулевое время (мы еще не изгнаны из Рая), но она уже идет в душах и умах призванных к ней людей (люди эти на меже, в межвременье): есть уже *воля* к борьбе, есть *замысел*, есть разыгранные в *воображении* сражения. Что с человеком, который воюет до всякой войны? Он живет еще до грехопадения, но уже знает о нем? Знает об отложенном на неопределенное время начале? Свершенное будущее в настоящем? И что является оборотной стороной такого знания о мифе до всякого мифа? С ним обстоит так же как с жертвой, которая уже отдала себя на заклятие – до всякого момента ее вызова. (Мы не спрашиваем здесь психоаналитически или политически, кто развязал насилие и кто повинен в нем. Нам интересна сама ситуация до-нулевого времени). Как же можно оказаться в до-нулевом времени? Вспомним Одиссея, спустившегося в Царство мертвых или Энея – они были храбрыми воинами.

Есть совершенно противоположный по направленности процесс – низведение в Ничто безвременья, например путешествие Героя мифа в загробный мир (кто же знает, сколько он там пробыл, но вернулся он точно иным, уже ведающим будущее. Вспомним сказку Афанасьева о солдате и черте, у которого солдат, пробыв там, казалось, всего три дня, вернулся через три года, без своей скрипки, но с книгой предсказаний). Жизнь Иова чистым божественным насилием мгновенно лишена Правды, отнята размерность земной справедливости, и вместе с тем происходит отмена течения времени (и это постараемся запомнить: связь справедливого хода вещей и времени). Своим абсолютным произволом Бог лишает Иова суда (обрекает на бессмысленность безвременья): «Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана *неисцелима* без вины» (Иов, 34:6). Торжество стихии несправедливости лишает жизнь разметок. Границ, ориентиров. Время длится, жизнь проходит без смысла. Значит, категория справедливости для воина чрезвычайно важна, если уж пожертвовал жизнь, то ради благой и справедливой миссии. Здесь мы подходим к болезненной теме самоубийства среди военных. Наша гипотеза состоит в том, что главной причиной самоубийства, на которое решаются далеко не худшие, в том, что где-то обесцененной оказалась идея справедливости. Именно справедливость, а не правопорядок является ключевым элементом жизни воинского союза. В случае Иова – чистого божественного насилия – речь и не может в принципе идти о справедливости, Бог несоизмерен никакому суждению человека: «Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов, 9:33). В своем отчаянии Иов ищет учреждения смысла, пытается найти точку начала, определить отсчет и установить меру (пусть, если есть грех, то будет он хотя бы измеримым, а вина искупаемой; если бы удалось измерить, назвать и определить): «Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов, 19:25–27). Такова оправдавшаяся надежда Иова на праведный суд и возвращение

¹⁵ «Ибо война есть не только сражение, или военное действие, а **промежуток времени**, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие войны, так же как и в понятие погоды. Подобно тому как понятие сырой погоды заключается не в одном или двух дождях, а в ожидании этого в течение многих дней подряд, точно так же и понятие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном» [6].

времен, Ветхозаветный Бог всемогущий обратиться все вспять. В христианской культуре спасительной становится идея прощения.

Что же такое отложенное время, в котором живут воины, свершенное будущее в настоящем? Оно связано с приостановкой развертывания личного поиска в пользу предоставленного смысла общественно значимого служения. Обещанием Рая приостанавливается их экзистенциальное время, но не утекающее природное время: воины «забывают», что «в одну реку нельзя войти дважды». Выступая гарантом мира и спокойствия, защищая благоденствие и развитие культуры, жертва (и в этом ее чистота) не может одновременно заботиться о своем спасении. Воин живет в подготовке, в вынужденном межвременье, когда еще не пришло время войны и отсчет не начался. И его жертва личным временем как изнанка мира: та тень, которой мы не видим и не знаем, но которая является условием нашего бытия и света. То Ничто, которое формирует границы мира (пока еще живых), отделено ими как заложниками. Солдат у Стравинского заложил черту скрипку и отдал свое время, но в обмен получил книгу предсказаний – Белую книгу. Осмысленность жертвы солдата связана с выигрышем времени всем обществом (а за это время родились и выросли дети, – говорится в сказке). Ничтожащее Ничто как трехглавый змей отступает перед самопожертвованием человека-воина, происходит критическое осознание границ Мира и длится размеренное время, за которое воинское сословие расплачивается невозможностью свободного волеизъявления. Как емко сказано у Гельдерлина в гимне «Мнемозина»: «Богам не угодно, когда /Муж свою душу не хочет, щадя,/ Сдержать, но так он должен: ведь у него/Отнята скорбь». Именно на этот экзистенциальный момент жертвы временем следует указать в философии военного управления, дав во встрече с философом речь этой пустоте, иначе она останется бессловесной тоской.

Фигуры, воплощающие особую разметку времени

У Бодлера есть знаменитая фраза о трех *почтенных* фигурах: священник, воин и поэт. Их выделенность состоит в призвании жертвовать: во имя Бога, общественного блага или истины. Социальные аспекты жертвоприношения и функции жертвы рассмотрены М.Моссом, Р.Жираром, мой же интерес был сосредоточен на личной способности, на призванности к самоотречению или даже на невозможности не быть жертвой. И эта способность связана с особой внутренней разметкой времени у личности.

В военной системе воспитания и жизни речь идет о редукции личного времени к социальному, поскольку время служебное у военного тотально дисциплинированно, без провисаний находится в инструментальной и сиюминутной готовности. Но вот личное экзистенциальное время не строится рационально, события понимания и откровения не случаются гарантированно, оптимально, эффективно, они как «перебои сердца» у Пруста внезапны. При исключении этой спонтанности («Дух веет где хочет») у воина неизбежно возникает «дефицит личного смысла», хотя его служба как таковая осмысленна.

В качестве примера рассмотрим предельный случай: командира подводной лодки, наделенного почти божественными полномочиями – властью распоряжаться временем других, а в критическом случае – временем жизни. Командир, будучи хранителем времени, поскольку распоряжается его порядком и разметкой, не «царь себе самому», у него нет своего экзистенциального времени помимо времени социального, и в этом состоит жертва: его экзистенциальное (оставшееся) время полностью без остатка конвертировано в социальное. Тем самым, на месте живого бытия личной экзистенции оказывается пустота. Распоряжаться социальным временем и не иметь своего времени в случае командира – это две стороны медали. Только тот, кто может пожертвовать, – рискнуть остаться без опор внутреннего личного времени в полном доверии своим силам и своей судьбе, – тот способен целенаправленно и надежно выстроить социальное время, дисциплинировать его. Более того, дело в компенсаторном умении транс-

формировать нечто бытийное (преходящее) в социально значимое: свое срывающееся чувство преобразовать в порядок коллективного времени, свой дефицит личного смысла превратить в приоритетность социального. Командир, жертвуя личным временем и смыслом, выступает противовесом и гарантом социального и боевого порядка: находясь в центре устроенного им мира, он оказывается из этого мира исключен; в ситуации, где все равны, он один остается неравен, ибо, спасая и гарантируя коллективную справедливость, права на свое спасение не имеет. Для этого нужна отчаянная решимость.

Как неравен (в собственных размышлениях) при всеобщем равенстве права на жизнь оказывается главный герой в рассказе «Стена» Сартра. Он спрашивает себя: почему «я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила не дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет, кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий, – все в принципе равноценно». Но личный выбор командира состоит в том, что он сознательно исключает себя, он неравен потому, что он в ответе за всех, сознательно взял на себя бремя «искупительной жертвы». Что потом делать командиру с этой своей проклятой «исключенностью», – в этом проблема для специалистов (психологов, практических философов), обязанных помочь вернуться командиру не опустошенным, способным к мирной жизни..

Интересна в связи с этими размышлениями фигура философа, отличающаяся безвластием и отсутствием жесткого принуждения времени. Философ сам себе царь, поскольку у него есть лишь время его личной свободы. Даже если это время дискретное, нахлынувшее или ворвавшееся, кристаллизовавшееся из скуки, в любом случае время событий смысла не соразмерно бесконечному круговороту бытия; мысль живая вне природного ритма, как и вне божественного произвола, да и вне социальных принуждений (если вспомнить Диогена и Сократа). Это время «слабых» личных усилий, с этим временем мы приходим к своему ожидаемому концу в заботе о душе. Это время свободных размышлений уже после грехопадения, всегда уже рефлексия над бывшим. (Наиболее пронзительный автор в этом отношении Кьеркегор). Это не время героев-Титанов, но время творца, когда нет страха пустоты или бесконечности. Что касается фигуры поэта, то «бесхарактерный» (с точки зрения дисциплины и принципов военного управления – твердости, настойчивости, непрерывности, рациональности и плановости и др.) и своевольный, в истекающее песком личное время, поэт/художник успевает запечатлеть ускользающие тени смысла, без остатка превращая глубину своей экзистенции в ритмы своего творения, и для этого также нужна отчаянная решимость. Священник же, третья фигура Бодлера, становится «обителью Бога и многих приведет к пониманию Божьих заповедей». Но это не столько вопрос акцентированно персонального самопожертвования, сколько подражания, ибо для него уже есть и Спаситель и Создатель, он удерживает в себе Дух. «Воистину имели они в двух телах единую душу» – это сказано о тех, кто помогает сырым духом или умом, восполняя своим служением духовные запросы своей паствы.

Итак, если жизнь определена службой, – устремлена ли к славе земной, связанной с героизмом и памятью (людской), или устремлена к славе божьей на земле, – время длится законосообразно и превышает ограниченную человеческую жизнь (неразрывная связь времен). Соизмеряя себя с этим временем (с памятью-Мнемозиной или с божественным временем), человек, может терять «тонкую красную нить» своей личной экзистенции: свои персональные смысл и время. Если он способен к жертве и призван к славе, то речь идет о преодолении собственной печальной конечности и ограниченности своих сил в Воинском или религиозном союзе. Сила союза дополняет индивида, придает ему вес.

Дефицит (или даже отсутствие) экзистенциального времени «вшит» в Героя, ибо он связан с незначимостью личного времени: оно «обнуляется» (о службе ветеран скажет: «это было в другой жизни»). Для Героя важна слава, – отложенная в будущее: историческая память (сказания, саги и мифы) хранит сообщения о героических деяниях, превышающих ограниченные

возможности всякого конечного человека. Ради этого бесконечного исторического времени, – вечной славы в веках, – Герой жертвует своей жизнью, и в этом обретает Возвышенное.

Герой как жертва оказывается в центре мира, но у него нет личного времени, пустота (личного) совпадает с полнотой (общего). Тотальная заполненность непрерывными служебными задачами и дефицит личного времени оказываются прочно связанными. Однако командир, хотя имеет весомые основания для самопожертвования: интересы коллективного блага, политическая/религиозная идея, возвышенное, – но жертва командира все же имеет особый характер, культурно-антропологический, вне политической мотивации, вне личной преданности телу короля, без воинственности и агрессивности комбатанта. Культурно-антропологическое качество жертвы придает фигуре командира созидательную направленность, даже посреди уничтожительной и разрушительной ненависти войны. В понимании призвания командира более значима категория сакральной жертвы (Рене Жирар), особый ответ на зов бытия (Мартин Хайдеггер), ответственность за конституирование смысла социального служения (евангельское «пострадать за други своя»), за осмысленность общего дела (философия общего дела Николая Федорова или даже в духе Достоевского «Всякий пред всеми за всех и за всё виноват»). Конечно, этот тип людей с их призванностью служить может быть использован в политических или частных интересах, вплоть до фанатизма и нигилизма, свойственных служению. Но предотвращение этих крайних случаев возможно при хорошей философской подготовке командиров, при отчетливом осмыслении ими своего предназначения и привитии навыков «ориентирования в мышлении» (Кант).

Жертва как форма безвозвратного дара

Дар – одно из оснований межчеловеческих связей в доиндустриальных обществах, всепроникающий социальный элемент. Дар граничит не только с торговлей, или с данью, с оплатой услуг или подкупом, но и с жертвой, которая является особой формой дара, асимметричной и необменной. Благодать, исходящая на одаренного человека, будь то легитимация власти правителей, отметка избранника, особые инсигнии, не может быть адекватно «отдарена», от нее невозможно отказаться, человек не суверенен по отношению к дару богов. Здесь возможен только символический обмен с мистическим преображением как в евхаристии. Причем коммуникация между Богом и человеком сводится к коллективной коммуникативной практике с объединяющей людей жертвой, происходит трансформация дара в жертву. На дар небес мы вынуждены отвечать жертвой.

Однако, жертва – в коммуникативном смысле пустое место в отличие от дара (взаимного, продолжающего коммуникацию), жертва безответна и окончательна (как например, жертва девушек дракону в сказках, или жертва в ходе создания зрелища для масс – гладиаторских игр на арене). Жертва выступает началом нового миропорядка, но сама она исключается из него, у нее отнята сопричастность, она одинока (время, в котором ее уже не будет, и которое ею оплачено). Жертва преосуществляется – трансформируется в социально мирное время. Для самой себя жертва выступает формой дара с исключенным смыслом.

Жертва – не суверенна, не полна в себе, ибо она лишь теневая, компенсаторная, сторона полной благоденствия жизни. Залог благополучия. Жертва – «не зеркальный» ответ на благодать от Создателя или Спасителя. Она лишь временное искупление. Поэтому она должна быть ритуально чистой (в нечистом мире), не куплена, не обменяна, но явлена (как агнец вместо жертвуемого сына в случае Авраама или в виде самой любимой дочери как в «Аленьком цветочке»).

Хотя в даре присутствует временная отложенность: «На любой встречный дар требуется некоторое время» (М. Мосс), – и обязательства, принимаемые при получении дара, не фиксированы во временном отношении и диффузны в содержательном отношении, и каждый

отдельный акт дарения всегда остается незавершенным, однако в нем основывается длительное ожидание, длящееся время. Но именно таким образом обмен дарами выстраивает базовые и устойчивые социальные связи, предполагающие личные отношения. В отличие же от симметричного обмена дарами жертва принципиально целостна, неделима, в горизонте несоразмерности бесконечного Бога и ограниченного человека.

Дар представляет собой и определенное высказывание: это не только материальная ценность, но и средство передачи информации: «обмен даров следует понимать как одну из форм невербального и символического общения», – как пишет исследователь Клаудиа Гарнье, – можно говорить о своеобразном «языке даров» [3, с.74]. Дар выступает при этом не только индикатором силы, величия, влияния приносящего дар, но существует тесная связь между даром и честью. «То, что глаголы «почтить» и «одарить» используются как синонимы, доказывает структурное сходство обоих этих действий» [3, с.82]. Мистический обмен дарами происходит в ходе Литургии, которая воспринимается как жертвоприношение, что подтверждают ранние формы литургической практики, например, с принесением в жертву голубей.

Обмен дарами в раннем Средневековье при личной встрече между правителями или посредством посольств описывался с помощью следующей краткой формулы: такие-то и такие-то встречались для пира и обмена дарами (*convivium et munera*). Интерес представляет многозначный термин *munus*: 1) обязанность, служба, должность, пост (в т.ч. военная); 2) задание, повинность, бремя; 3) дар, подношение; 4) жертва; 5) даровое зрелище для народа, праздничные игры (*преим.* гладиаторские), то есть непосредственно связанные с готовностью к жертве жизнью. Здесь созначения 1) и 4) раскрывают нам сакральный смысл служения.

Жертва воплощает в себе единство власти и страдания. всесилен могуществом единосущного сына, он Спаситель, но бессилён спасти себя от страдания. Жертва, которая призвана стать спасительной, искупительной, и в этом смысле она *социально* всесильна, ровно в той же мере не может спасти самое себя. Как теорема Геделя о неполноте, как пустота в центре мира. Именно поэтому традиционно жертва должна быть «чистой», непорочной, невинной (кроткой). Дело здесь не в исключении мести по принципу талиона. Дело в греховности мира, оборотной стороной которого должна выступать жертва. Она уже должна быть исключена из грешного мира. Слишком праведный человек социально невыносим, как и слишком мудрый (Иов и Сократ). Фильм «Голгофа» Джона Майкла МакДонаха объединяет в себе эти два аспекта жертвы: в жертву должен быть принесен (в отпущение деяний плохого священника) священник хороший.

Жертва так или иначе связана с искуплением, выкупом: сохраняет жизнь и порядок другому, социуму. Но вместе с тем она содержит в себе нить связи с тем, кто ей выкуплен. Будь то в виде памяти, или в виде благодарности: жертвой повязал и обязал, – в том числе и командир свой экипаж, и учитель своих учеников. Что искупается жертвой? Грех, нарушения, осквернение? Пожалуй, нет. Жертва дарит нам время жизни, оттягивая конец. Восстанавливает справедливость в том смысле, как говорит Хайдеггер, что справедливость – это дар. Отложенность обязывает: «еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет» (Ин 12:35). Жертва «заброшена» в будущее, определяет наше будущее, поскольку мы у нее в долгу. Она как пустота, вызывающая к нам и требующая деятельного заполнения.

В случае поэта, в одном единственном случае, когда созидание и искупление совпадают, то есть творение творится как искупление, прошлое и будущее аннигилируют в перформансе настоящего, время исчезает, оставляя место только актуальности «сейчас». В момент пылающей актуальности, без страха и греха – это творческое поднесение жертвы, это гимн, песнь поэта. Фернандо Пессоа в «Книге покоя» пишет: «Я не знаю, что такое время. Не знаю, каково его истинное измерение, если оно имеет таковое. Я знаю, что измерять его с помощью часов неправильно: это разделяет время пространственно, снаружи. Измерять с помощью эмоций также неправильно: это разделяет не само время, но то, как мы его ощущаем. Измерять

мечтами – ошибка: в них мы касаемся времени, то медленно, то стремительно, в зависимости от чего-то происходящего, чьей природы я не знаю. Порой я считаю, что все – обман, и что время – не более чем рама для него» [4, с. 287].

Искупление (спасение) невозможно без жертвы, это необходимая трата, дополняющая возможность созидания, творчества. Жертвой оплачивается свобода творчества. Жертва и творение взаимодополнительны, также как у Кьеркегора взаимодополнительны грех и страх. И если творец в центре актуального, создаваемого мира, то жертва в центре будущего мира, она выступает условием возможного начала мира (закладная жертва).

Указывая на то, что искупление предшествует созиданию, Агамбен пишет: «Бог является неким пространством, в котором люди принимают важнейшие решения, – созидание и спасение также определяют и человеческие поступки». Именно поэтому время жертвы – это начало, нулевое время искупления: «Тот, кто действует и создает, должен также спасти свое творение и подарить ему искупление. Недостаточно просто делать, необходимо еще и уметь спасти содеянное. Таким образом, миссия спасения предшествует миссии созидания, будто единственным законным основанием для того, чтобы делать и создавать что-либо, является способность искупления сделанного и созданного» [1] (В части III. § 5 мы рассмотрим двурукого командира, у которого левой рукой символизировано творчество/решение задачи, а правой – спасение). Тем самым искупительная жертва в точке нулевого времени предшествует всякому новому началу.

Борис Стругацкий в своем интервью определял «подвиг» как результат «кривой» работы социальной системы, «дырки» в которой «затыкаются» вынужденными экстраординарными поступками отдельных личностей [5]. Получается, что в стабильном, «хорошо отлаженном», обществе «нет места подвигу», нет причины для нового начала. В качестве разумной альтернативы любой героике он называл общество потребления, в котором «весело и ни о чем не надо думать». В связи с этим встает вопрос о жертве в глобальном информационном пространстве, тотально без разрывов и пустот заполненном медиа-контентом. Что может быть нулевым меридианом, предшествующим здесь новому творению?

Ссылки:

1. Агамбен Дж. Нагота. Москва: 000 «Издательство Грюндриссе», 2014 г. – 204 с.
2. Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. второе, исправленное / Пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 752 с.
3. На языке даров: правила символической коммуникации в Европе. 1000 – 1700. / Отв. ред. Г.Альтхоф и М.А.Бойцов. М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 263 с.
4. Пессоа Ф. Книга непокоя. Издательство: Ад Маргинем Пресс. 2016. – 486 с.
5. OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким. Ноябрь 2002. —Режим доступа: <http://www.rusf.ru/abs/int0050.htm>
6. Гоббс Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Глава XIII.

§ 3. Проблема суверенного решения

Суверенность изнутри

Практика военного управления, как культурная практика, обучение которой происходит, в том числе в Военно-морской академии, предполагает, способность положить начало и стать лидером своего дела. Однако воспитание в военной системе ориентировано на повседневное дисциплинирование, что приводит к недооценке личностного начала, и прежде всего, ее суверенной способности положить предел своей воли к власти, своему самоволию и произволу. Дисциплинарная практика тренирует навык послушания, но навык найти свободно себе меру она не формирует. Поскольку всякая власть стремится к эскалации, сохраняя и преумножая себя, то самоограничение – способность «укротить свое мощное сердце и умерить свой гордый ум» (Солон), – является важной компонентой в воспитании военачальника. Такое самоограничение напрямую связано с решительностью личности «иметь мужество самостоятельно пользоваться собственным разумом»¹⁶ [6]. Хотя есть институциональные формы ограничения самовласти, в том числе и в военной системе, однако, в аффективной стихии власти, включающей иррациональные аспекты, необходимо искусство личного самоуправления, самосознания и аскетического самоограничения. Воспитание такой суверенной личности, способной положить себе предел изнутри, является необходимым условием сохранения и развития системы, и в целом саморазвития культуры. И речь при этом не идет о культурном коде, который якобы детерминирован и гарантирован в своей реализации в той же мере, что и биологический или цифровой код, но это свободный моральный дух, свободное решение, запускающее, в числе прочего, и действие «культурного кода». «Дух не происходит из природы естественным путем», – пишет Гегель в § 381 «Энциклопедии философских наук» [4], не происходит он детерминировано, в соответствии с кодом или алгоритмом, а проявления его связаны со свободным усилием в условиях допуска и зазора, при наличии возможностей в культурном поле для его реализации.

Дисциплина и повиновение, в том числе в военной системе, формируют «отрицательность себялюбивой единичности», что может стать (при определенных условиях) началом свободы в ее положительном аспекте, как «в-себе-и-для-себя-разумного в его независимости от особенности субъектов», то есть как всеобщего, – продолжает Гегель в § 435 «Энциклопедии философских наук» [4]. Человек, как зрелая личность проявляет такую волю, которая по качеству свободы уравновешена ответственностью. В случае военного управления конфигурация личного и социального становится сложной. Личное и социальное, многократно переплетаясь (или даже намеренно смешиваясь, – чем занимался институт комиссаров), уже не оставляет возможности различать зоны суверенного от системы решений, и, как следствие, человеку трудно сохранить предельно экзистенциальное чувство ответственности. Трудно изнутри дисциплинарной военной системы воспитать навык такое решение принимать, точно осознавая личную ответственность и не преступая границы произвола. Зачастую формируется системная коллективная ответственность (в интересах общего блага) в сочетании с самоуправством, далеким от интересов целостного функционирования системы. На мой взгляд, именно на этот тонкий баланс нужно обратить внимание при подготовке военачальников. Ответственность у командира личная в рамках сплоченного воинского союза с его коллективным этосом.

¹⁶ «Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения». (И.Кант. Ответ на вопрос: что такое Просвещение?)

Начинать нужно с человека управляющего, в котором (на поле жизни которого) происходит столкновение его личного экзистенциального мотива (духовной свободы, жажды славы, ограниченного времени жизни) и социального ожидания (долга защиты, представлений о чести и служении). Случай Адольфа Эйхмана, рассмотренный Ханной Арендт, является демонстрацией сложности суждений о личностной суверенности человека на службе. От подполковника СС на суде требуют ответа как от человека, а не от элемента системы, выполняющего должностные обязанности. Спрашивают о личной ответственности, а не о служебном долге. (Долгов у нас может быть много, а ответственность одна. Долг – он и дьяволу долг (Дитрих Бонхёффер), а ответственность – это свой ответ. И русский язык нам тут помогает: Долг перед..., а ответственность за... Принять решение о личной ответственности можно только свободно. Если Долг можно человеку вменить, то ответственность он берет на себя сам. Соответственно, репрессирование свободного мышления ведет к тому, что человек неспособен быть ответственным в полной мере). Предпосылкой является допущение, что человек (личность), – при всей своей ограниченности и детерминированности, – избыточен по отношению ко всякой системе (может быть элементом разных систем или вне системы, перед лицом Бога или собственной совести). Готовность к самоотдаче, к самозабвенному служению предполагает единжды совершенный моральный выбор, заверенный словами Присяги. Но экзистенциально нет гарантии рефлексивного исполнения, уже не говоря о ситуативной свободе понятийной интерпретации.

Социальное взаимодействие определяется установлением властных отношений, учреждением дисциплинарных практик, распределением ресурсов и силовых линий, легитимацией права на насилие. Тогда как культурное пространство собирается формами символической трансформации (превращения) и коммуникативной способностью декодировать послания при настроенности на встречу в едином смысловом поле, которое включает добрую волю, признание и понимание. Языки культуры сшивают социальное и индивидуальное начала. Языки культуры искусны в противоположность примитивности и прагматичности варварства, в котором боль только боль, война есть война, а инструмент насилия всего лишь безличный инструмент, жертва – случайность, а не сознательное решение. Духовное измерение определяется способностью к моральному выбору (вопреки биологическому началу, эгоистическому интересу, социальному детерминизму). В военной системе при акцентированности социально-политического и формально-юридического компонентов может не возникать необходимость в доброй воле как личном усилии. Если человек не *превышает* систему (в творческом проявлении, в избыточном необусловленном Поступке) и тем самым не удостоверяет конечность системы с ее самосохранением, ее подчиненную роль (чисто функциональную) перед бесконечностью истории, культуры, ценностью отдельной человеческой жизни, если мы по-своему не «раскаиваемся» в «квази-бытии» системы, то мы впадаем в фанатизм приверженности структуре, тотальности (господства) системы.

Если учесть, как формируется боевая готовность, то нужно разделять три уровня: первый уровень – автоматизм действий, на котором формируется тело-инструмент, натренированное и дисциплинированное, единое с техникой (военно-профессиональные качества) и с коллективом (воинское братство), способное совершить самопожертвование; тело, сдержанное к произвольным реакциям (военная культура предполагает, в том числе, – умение замещать произвольные на выработанные реакции). Наряду с этим, на втором уровне, важна дисциплина, как непрерывное практикование повиновения. На этих двух уровнях ведется работа педагогов, психологов, физиологов, тренеров, военных специалистов. Третий уровень связан с практикой принятия решений и практикой приказа. Практика приказа включает в себя заботу о вверенных людях, а способность принимать оптимальные и эффективные решения предполагает как свободу мышления – для адекватного и непредсказуемого (для врага) решения, так и особую стойкость воинского духа (неотступность, непрерывность усилия, волю к победе, способную

не только подчинить волю врага, но и сконцентрировать коллективную волю подчиненных). На третьем уровне необходима философская культура (аналитическая, концептуальная и критическая), порождение самосознания и способности морального выбора.

И вот эта способность принимать решения – это не то, что проблематичным образом вписывается в практику Приказа, это радикально иная способность, но ее наличие критически необходимо. И здесь нужна работа с личностью – развитие критически и аналитически настроенного свободного от предрассудков ума и точного осознания противоречий. «Победа над смертью есть необходимое натуральное следствие внутреннего совершенства; то лицо, в котором духовное начало забрало силу решительно и окончательно над всем высшим, не может быть покорено смертью; духовная сила, достигнув полноты своего совершенства, неизбежно *переливается*, так сказать через край субъективно психической жизни, захватывает и телесную жизнь, преобразует ее, а затем окончательно одухотворяет, неразрывно связывает с собой...». (Соловьев В.С. Письмо к Л. Толстому. Петербург, 28 июля – 2 августа 1894).

Изнутри себя язык приказа и практика приказа не знают этого избыточного, лишнего. (Язык власти и диктатуры также принципиально исключает допуски для избыточного). Поэтому так важно наличие в военной системе (дабы избежать диктатуры практики приказа) наличие свободного начала философского мышления. «Философия военного управления» как дисциплина была бы крайне востребована в Академии, к тому же в программы классической (дореволюционной) Академии она была вписана традиционно. Установившаяся диктатура пролетариата столетие назад снесла и институциональные формы организации знаний, и содержательно важные аспекты классической культуры, в том числе культуры военного руководителя.

Суверенность в системе единоначалия

Итак, практика военного управления немыслима без принятия решения, но решение это должно быть суверенным. В каком смысле? Речь не идет о делегированных полномочиях, как в случае *политического суверена*, основное и предельное полномочие которого – принимать решение о введении чрезвычайного положения. Власть суверена выражена в его праве отменять действие законов, объявляя чрезвычайное положение. И политического суверена характеризуют два вектора: личная воля и приказ (предполагающий повиновение). Например, в случае Пилата и его решения о судьбе Иисуса, назвавшегося Царем Иудейским, не реализуется воля. Пилат, как мы знаем, «умывает руки», хотя имел возможность и суверенное право проявить свою волю. Он не выносит самостоятельного суждения (в том числе и юридического), не принимает решения. Он просто отдает (предает и передает) Иисуса на волю традиции иудеев. От своего морального выбора он отказывается.

Точно также не будет суверенным решение, когда за человека решает его биологическое тело, страшащееся боли и смерти, или его социальное тело (тело семьи, рода, сообщества): «Это не я решил, таковы наши порядки (традиции, уклад; так всегда было)», – происходит передача личной ответственности и своего права принять решение анонимным инстанциям. Человек при этом не судит сам и не рассуждает. Тогда как моральный выбор совершается вопреки господствующим понятиям и стереотипам, вопреки объяснимым (экономически или политически) мотивам. (Об иррациональности морального действия пишет Т.Адорно¹⁷ [2]).

¹⁷ «Бывают ситуации столь невыносимые, что вы уже более не в состоянии содействовать царящему злу. И вам все равно, что произойдет потом и была ли у вас возможность поступить как-то иначе», – говорит об абсурдной акции 20 июля 1944 один из ее участников. Этот момент сопротивления, когда человек попадает в невыносимые условия и стремится их изменить, невзирая на последствия своих действий и на условия, которые, если их предварительно теоретически рассмотреть, окажутся совсем неблагоприятными, – этот момент сопротивления и является тем пунктом, где следует искать иррациональность морального действия, где этот иррациональный момент локализован [2].

Что в случае единоначалия можно сказать о суверенном решении и его необходимости? Для победы над противником в военных действиях оно, безусловно, необходимо, как недетерминированное, непросчитываемое и непредсказуемое в своей иррациональности. Особенно в случае современной комплексной (или гибридной) войны. Суверенное решение всегда непредсказуемо, поскольку совершается в своей собственной логике, на собственной выстроенной сцене, со своим языком и своей продуманной стратегией. Как согласовать суверенное решение с единоначалием как принципом, который исключает личное волеизъявление?

Единоначалие как принцип – это не власть одного начальника, потому извращением является самодурство и самовластие начальника. В качестве принципа единоначалие охватывает всю систему целостно, предполагает сквозное подчинение в пирамиде приказа, мотивированное единством общих задач и цели, общей направленностью деятельности, общим понятием блага, и, конечно, взаимным признанием и уважением всех составных частей как значимых. Единоначалие – всеохватный *принцип* в отличие от централизации политической власти (которая может быть представлена как шар с центром¹⁸), он пронизывает все взаимоотношения всех элементов, равнозначимых в своем вкладе в общее дело. И он предполагает взаимозаменяемость, исключаящую какую бы то ни было монополизацию власти. К сожалению, аффективная сторона власти, движущая человека всегда к накоплению и удержанию полномочий, часто препятствует идеальному воплощению принципа единоначалия как приоритета единого общего начала перед лицом разных элементов системы. И потому возникают случаи не только непонимания этого принципа, но и злоупотребления должностными полномочиями. Единоначалие – это единство управляющего начала, но не центра как доминирующей высоты, а самого духа общности и единства, братства, в котором все равны перед лицом смерти; это приоритет органической целостности, живущей ради общего блага, общего дела. Поэтому так важно различать лидера и командира. Лидер *определяет* саму систему, учреждает и формирует ее. И лидер является образующим, удерживающим систему элементом, без него система приобретет другие свойства. Например, в западной модели университета, избранный на должность профессор сам называет свою кафедру, она титульная, временно так названа, в связи с приоритетом его научных интересов.

Следует различать суверенность и автономность, как это уже сделано Гегелем¹⁹. *Автономность* рассматривается как относительная изолированность членов системы от целого системы. Тогда как суверенность допускает внесистемность решений, инородность системной логике. Суверенность не изолирует, но исключает. Суверенное решение при этом опирается на систему, единосуца ей, использует ее. Диктатура и своеволие являются болезнью суверенности в системе единоначалия: неуважение и игнорирование системы ради своего господства, подчинение себе целостности системы, злоупотребление общим в частных интересах. (Если продолжить гегелевскую органическую метафору, то можно говорить о злокачественной опухоли *себялюбивой* суверенности).

Томас Гоббс указывает в качестве одной из трех принципиальных причин войны всех против всех (наряду с недоверием и соперничеством) – жажду славы [5]. Из тщеславия, кичливости, чванства, горделивости и жажды почестей люди предают себя, свою душу и свою мечту. Актуальная на сегодняшний день проблема звучит как *борьба за лидерство*, что напрямую связано с этой принципиальной причиной войны по Гоббсу. В мире, отстаивающем свободу слова и неприкосновенность частной жизни, любая произвольная «сборка» субъекта и конструиро-

¹⁸ Пространственную метафору политической власти представляет, например, С.И.Каспэ. Это круг, сфера или кольцо с центром. [7]

¹⁹ «Идеализм, учреждающий суверенность, представляет собой собственно детерминированность, согласно которой в живом организме так называемые части одного являются не частями, а членами, то есть органическими моментами, согласно этой же детерминированности изоляция и **существование-для-себя** последних представляют собой болезнь» (Энциклопедия философских наук, § 293)

вание собственной идентичности – это дело свободы выбора личности. В этом состоит исходная посылка западного стиля мышления, в нем не может быть доминирующей идеи. Тем не менее, необходимо признание всеобщего рамочного соглашения, формирующего общественное согласие (на основе, например, международного права и международных институтов), что уже создает условие для ассоциированного единства добрых волей, которое, согласно Канту, позволяет мирное сосуществование. Установление и учреждение общих универсальных законов и принципов – длительный процесс, требующий взаимной доброй воли, тогда как борьба за частное, локальное или региональное понимание справедливости, правды, чести – не будет продуктивной в глобальном разнородном мире.

Условием суверенного решения является духовная свобода личности вместе с соблюдением универсальных норм²⁰. Поэтому воспитание военачальника как человека, живущего в современном комплексном мире, – это, прежде всего, воспитание ответственной личности, способной к свободному моральному выбору, что не отменяет одновременно необходимости дисциплинарного воспитания, основанного на чувстве долга, состоящего, по словам Солона, в необходимости «сражаться за закон, как за стены города».

Суверенность в ситуации постправды

Суверенное решение командира немислимо вне оценок его справедливости, оправданности. Но эти понятия сегодня оказываются под вопросом. Как возможно суверенное решение в ситуации утраты четких ориентиров и стабильных линий разграничения.

Разделение на рациональное и иррациональное, по всей видимости, утрачивает смысл в случае медиасреды. И это фиксировано, в том числе, термином «постправда». В отличие от субъект-объектных отношений времен Клаузевица, медиареальность игнорирует разделение классической рациональности на *реальную* часть и *мнимую*, воображаемую. Новые средства коммуникации порождают новую конфигурацию человека политического, отличительной чертой которого является неопределенность границ внутреннего и внешнего, «медиа внутри нас». Можно говорить о ситуации критической линии (на меже и в межвременье), поскольку медиасреда как стихия – это перманентный кризис: она поливариантна, гетерогенна, неопределенна, включая большие данные, в том числе анонимные источники, наведенную и сознательную дезинформацию, потоки массовых аффектов.

Понятие постправды формируется на основе различения истины и правды. Истина связана с целеполагающим, тотально контролирующим и управляющим разумом, с эффективным разумом, создающим проекции на мир, узаконенные институтами (наукой и научной картиной мира, государством и легальностью процедур). Тогда как правда подвижна не правилами формальной логики, а множественностью возможных рассказов (оправдательных нарративов). Если истина не может быть иррациональна, поскольку она учреждает сама рациональность, то справедливость зачастую только и может быть учреждена как исключительно иррациональная, как правда вопреки силе, вопреки прагматизму и детерминизму. Это очевидно в случае (не)справедливой кары богов, неожиданно настигающей мифологического и античного героя вопреки всяким расчетам на оправданность их действий по меркам человека.

Термин «посправда» фиксирует новую ситуацию: гибридизированная медиями реальность больше не кодируется в таких бинарных оппозициях как правда/неправда и справедли-

²⁰ «Доблесть как стержень человеческой жизни, есть бытийно личностный эксперимент, выход на предел возможного. И только тогда человек выпутывается из дурной бесконечности причин и следствий, только тогда способен к безусловному самостоянию. Без доблести нет человеческой личности. Я бы сказал, без доблести есть только полурожденные существа, но не личность. Можно быть прекрасным специалистом и профессионалом, но, при этом, оставаться духовным эмбрионом, полностью зависимым от бесконечных дурных сцеплений. И состоявшись как специалист, потерпеть крах в становлении человеком» (Мераб Мамардашвили)

вость/несправедливость, но скорее учреждается в многократно репрезентированной сценической форме (в том числе сетевой или игровой) – в исполняемой актором роли, в воплощаемом имидже. Нет единой реальности, но есть множество ее представлений. И даже консервативные структуры традиции (как, например, воинские традиции) могут быть представлены всего лишь имиджем, разыграны как версия (один из сериалов). Проблема права на признание в ситуации постправды слишком очевидна: есть ли еще у кого-то надежда быть оправданным? есть ли еще надежда восстановить достоинство? когда уже нет границ между фейком и другим фейком, и, как следствие, нет доверия. Ситуация постправды как раз и фиксирует отсутствие презумпции честности, абсурдность претензии на справедливость, невозможность доверия. Книги технологично пишутся, новости технологично производятся, власть технологично сохраняется, медиасреда искусно заполняется духами медиавойны. Перед лицом цифровой формы разума у нас нет настоящей необходимости обосновывать рациональность, также как нет причины усматривать иррациональность. О каком «искуплении» еще можно мечтать? Бог в цифре²¹. Технологии функционируют независимо от различения рациональное/иррациональное, правда/ложь. Иррациональность онтологически столь же важна, что и рациональность. Но сегодня она «превращается» из уникальной в одну из бесконечной игровых возможностей. По сути иррациональное утрачивает свой аутентичный смысл, разлагаясь в комплекс ролей и интерференцию масок.

Что значит утрата иррациональности и одновременно уверенность в том, что мы властны все объяснить? Согласно Маклюэну и Фиоре [8], всеисилие наших технологий, преодолевающих пространство и время, не становится нашим всеисилием, а скорее как очередная «самоампутация» ведет к фантомной боли (ибо всякая новая технология является одновременно самоампутацией, – утверждают они в книге «Война и мир в глобальной деревне»). Но спасение от боли – в разделении боли с Другим: открытое живое общение, встреча и воспоминание, осмысление, символизация, трансцендирование. Технологии осмысленны и оправданы только если делают нас человечнее, милосерднее, ближе друг другу. «Искупление» цифрой может открывать нас друг для друга, точно также как технологически упростившаяся коммуникация открывает нас для самих себя, если только удастся не наращивать скоростей в подражании нашим технологиям, ведь человек существо медленное.

Новая медиарациональность «рассеивает» повсеместно всю сложность близкодейственных властных взаимодействий и культурных практик осуществления власти (выводит за пределы осязаемых пространственных и социальных границ – кто мы все на сайте «госуслуги»? Не граждане, не единый народ, а боты в матрице). Но мы себе самим (антропологически) даны как близкодействующие, пространственно-протяженные существа. В своем воображаемом мы можем разрастись до исполинов, что не исключает фантомных болей нашей ограниченности. Здесь сталкиваются две рациональности: одна – укорененная в теле, а вторая – заданная медиасредой.

Суверенное решение предполагает полномочие и способность держать ответ в *отведенных пределах*. Эти пределы нужно еще удержать, не дать им стать «текучими», виртуальными, необязательными. Это значит, что как свободное решение оно предполагает сегодня различение «фантомных» образований, возникающих как эффекты медиасреды. Другими словами, принятие суверенного решения предполагает наличие внутреннего равновесия, некоей уравни-

²¹ Своеобразную цифровую (электронную, информационную) теологию можно обнаружить у Маклюэна и Фиоре: «Символизм рассматривает не только слова, но и артефакты, а также среду, сформированную этими артефактами. Технологическая окружающая среда столь же символична, как всякая метафора... Способность читать на языке окружающей среды относилась к тайнам пророчеств древнего общества. Она опиралась на **языки**, которые позволяли во внешнем мире прозревать мир внутренний, сохраняя оба как божественную истину для посвященных. Эта истина... являла тайну божественного сквозь вуаль окружающего мира». Сегодня мы «считываем» свое внутреннее с наших технологий, а не с природы, мы подражаем своим технологиям, что замыкает нас в порочный круг.

новешивающей антисреды. Что может быть такой антисредой? Возможно, поэт и художник, самовольно творящие заведомую иллюзию и тем избегающие оппозиции рациональное/иррациональное могли бы дать ответ на этот вопрос, ибо они суверенны по преимуществу. А также лично ответственный командир в случае изолированной в стихии моря военно-морской культуры.

Границы личного и публичного размываются в анонимных социальных сетях и в публичных информационных пространствах. В анонимных информационных потоках человек легче теряет себя, преступает границы сокровенного, лишаясь пиетета перед нерушимостью границ сакрального. Стирание границ ведет к освобождению внутреннего от внешнего, они теперь совпадают, виртуализируясь взаимно. Долго культивируемый «внутренний мир» (а именно в нем основа единственно верного, с доверием себе суверенного решения), учреждаемый прежде вопреки институциональному давлению и принуждению теперь теряет необходимость охранять свои границы. Можно именовать это эмансипацией, либерализацией и внутренним освобождением, но десакрализация может граничить с непродуктивной пустотой на месте тайны. Постправда – это отсутствие печати тайны на чем бы то ни было (алетейя – потаенное у Хайдеггера). Но тайна была одним из ключевых элементов в ответе на вопрос: что такое человек²². Без тайны человек *подставлен* наличному бытию беззащитным – обнаженное бытие (вспоминается и «одномерный человек», и «голая жизнь», и «отсутствие свидетельства» в лагерной жизни).

Причем ситуация постправды характеризуется не дефицитом правды, а тем, что не стало лжи, возможности уличить и отграничить ложь. Размышляя о функционировании Министерства Правды и своей работы по переписыванию истории, герой Оруэлл в «1984» констатирует: «А в общем, это даже не подлог, просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру. ... Чистая фантазия – вот что подойдет лучше всего (в качестве правдивого)». Антиутопия Оруэлл точно соответствует реальности тоталитарного режима: «Жданов говорил на XVIII съезде ВКП (б) о человеке, который написал 142 ложных доноса (хотя в сущности, неясно, где в то время пролегла грань между ложным и неложным доносом)», – сообщает историк Сергей Королев [9, с.313]. Всякий донос уже сам по себе ложный, ибо сама его возможность не может быть согласована с мотивом справедливого мироустройства и учреждением кантовского «вечного мира».

Пространственную человекообразную форму власти воплощает централизация, и центр выступает источником суверенного решения. Но все меняется в медиасреде, в которой власть растворена, повсеместна и нецентрализована; сеть подрывает и власть пространства, и централизованную организационную структуру, и иерархическую инфраструктуру в глобальной цифровой деревне. Медиасреда девальвирует статус суверенного решения Центра.

Проблема суверенного решения в случае цифрового разума не только в сложности найти опору (чистое зеркало) для рефлексии в мутном медиамире, с сетевыми разветвлениями постоянно переформатируемых акторов. Специфика скорее в том, что в медиареальности происходит замена нашей внутренней сцены, – созданной личным воображением как драматургом или демиургом, – на сцену, созданную самими медиа, что делает ее, как и весь контекст, симуляционным, текучим, по-гераклитовски преходящим. Внутреннее воображение провоцируется и развивается, если есть вызов. Если же для него уже выстроена сцена и вызова нет, то воображение превращается в чахлое дерево. На фоне цветущих гламурных образов медиареальности дерево личного внутреннего воображения излишне.

Если вспомнить магическую, мифо-поэтическую реальность (и магическую силу Слова в ней), то потенциал этой реальности состоял в провокации воображения, которое в свою

²² «Сам масштаб новой среды как макроскопического увеличения наших собственных само-ампутаций может сегодня положить начало новой науке о человеке и технологиях» [8]. Этому уже есть название – антропоцен.

очередь влекло волевое, энергийное начало. Тогда как цифровой разум сух, «чист» от всякой магии и связанного с магией энергетизма и счастья иллюзии. Мечтания, фантазии не приживаются, когда есть тотальная и ставшая привычной череда быстро мелькающих медиа-образов. Эмулированное, как бы вынесенное вовне и «отстроенное» массово воображаемое, которое становится частью гибридизированной реальности – это особенность сегодняшнего дня. «Самоампутация воображения» ведет к тому, что многократно отраженный в сетевых формах коммуникации разум, расплывающийся в сериалах и медиаиграх, изменяет процедуру самосознания и рефлексии, и становится неспособен найти в себе опору для суверенного решения.

А что было бы невозможно оцифровать? Что невозможно было бы эмулировать и от чего как от отражающей глубины колодца могла бы начинаться рефлексия? То, что можно оцифровать, то сразу становится глобальным. Возможно, что только непосредственно и уникально явленное может в глобальной цифровой деревне стать отправной точкой, в том числе для суверенного решения. В ситуации универсальной программной оболочки суверенное решение может сохранить свою непросчитываемость и непредсказуемость как сохраняет его утопический поэтический вымысел либо контекстуально действенное перформативное высказывание художника, по-дзенски точный жест.

В обществе социальной гарантированности и безопасности, каковым является современное общество комфорта и потребления, как раз отсутствуют навыки и привычки «заботы о себе» в смысле самосознания и точности самоотчета. Привыкнув к алгоритмам, к аппаратам и программам, обеспечивающим за нас большую часть наших жизненных потребностей, мы одновременно разучились брать ответственность за риск и угрозы на себя, устанавливать самостоятельно границы себе самим. Диффузное влияние медиапотока востребует от нас новую личную компетентность: информационную мобилизованность и политическую культуру, навыки медиаанализа в ситуации Постправды и внутреннюю собранность, отчетливость собственной позиции и устойчивость собственных ценностей, развитое самосознание, способность внутреннего воображения и навыки интерпретации. Техничко-технологический, «машинный» мир теряет свою иллюзорную власть в той мере, в какой человек обращается к себе самому и своему разуму.

Итак, важно: 1) не дать растворить **личностный** потенциал в медиа, не превратиться в потребителя (медиаконтента); 2) сохранить способность совершать **моральный выбор**, что осуществляется всегда вопреки всяческой потребительской расчетливости, вопреки детерминизму и прагматизму; что влекомо горизонтом величия человека и его чувством возвышенного; 3) производить критическую медиааналитику, непрерывно высвобождая себя из сетей собственных политик медиа; выстраивая собственные стратегии и осознавая общее социальное благо; 4) развивать свою способность внутреннего воображения, творческого преображения себя и реальности; 5) беречь силу Слова, не дать ему превратиться в цифровой блеф. Хотя медиасредства фиксируют то, что нам свойственно забывать, то есть подменяют собой долговременную память, но то, что должно быть сохранено в сердце (сакральное: заповедь, исповедь, откровение, клятва, присяга, молитва), – остается вне медиасреды. Именно оставшееся вне медиапространства, становится тем неделимым «атомом», который позволяет целостное, неcodируемое восприятие «поверх» технологий и передачу из рук в руки: передачу знаний наставником, передачу традиций системой воспитания и самой средой флотского братства. Невозможно имитировать, посчитать и перевести в цифровой код честь, невозможно «оплатить» и симулировать дружбу и сострадание, радость и счастье, любовь доброту и красоту.

В случае институтов Армии и Флота с наступлением медиавойн встает вопрос о поиске своевременных методов управления и воспитания. Создание новых форм адекватного ответа в ситуации асимметричных и многосферных современных войн затруднено привычкой к диалогическому, субъект-объектному мышлению. Будучи приложенными к современному моло-

дому человеку, методы суворовского и нахимовского воспитания не дадут того же самого результата, как сто или двести лет назад, хотя их ценность в утопическом горизонте, в том неосязаемом духе воинского братства, что скрепляет прочнее медиа-сетей. Этот горизонт невозможно конвертировать в технологию, в алгоритмизированный и гарантированный по своим результатам процесс, поскольку сохраняется принципиальная экзистенциальная незавершенность человека и обращенность к Другому (бытие перед лицом Другого), устремленность к возвышенному и поисковый, дерзостный характер мышления.

И наконец, то, что универсально во все времена: в случае обоснования суверенного решения необходимо хорошо оценить свои ресурсы – насколько есть готовность пострадать и потрудиться; где та мера допустимой боли и лишений (чтобы не ценой чужих страданий утверждать «истину»), поскольку истина безболезненно не учреждается, в отличие от легких фейков. И только, взвесив ресурс выносливости (в случае командира речь о «боевом духе» вверенных ему людей), приниматься за дело, отдавать приказ.

Ссылки:

1. Агамбен Дж. Пилат и Иисус. М. 2014. – 128 с.
2. Адорно Т. Проблемы философии морали.
3. Арндт Х. О насилии. М. 2014. – 148 с.
4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 3. Философия духа.
5. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского (<http://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs.Leviafan.pdf>). Глава XIII.
6. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? 1784.
7. Марей А. В. Возвращение теологии, или Plus ultra : рецензия на новую книгу Свято-слава Каспэ об онтологии политического // Философия. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – Т. I, № 4. – С. 206–210.
8. Маклюэн М., Фиоре К. Война и мир в глобальной деревне. М. 2012. – 219 с.
9. Королев С.А. Метаморфозы власти. Опыты по микроистории: философские аспекты. М. 2017. – 656 с.

§ 4. Экзистенциальный вызов военного управления

Уважаемому коллеге по ВМА, командиру по профессии и по призванию, Владимиру Дмитриевичу Егорову посвящается: с благодарностью за беседы в 2018–2019 гг.

«Счастлив тот командир, который обладает способностью спокойно спать....» (Харлей Ф.Коуп. Командование кораблем. Руководство морского офицера)

Не секрет, что военное управление связано с высокой мерой социальной ответственности. Однако, редко ставят вопрос, какой экзистенциальный вызов для человека связан с этим, и какие ограничения, чтобы не сказать санкции, накладывает выбор этой судьбы на личный путь и развитие. Соответственно, встает проблема подготовки человека, который не только подходил бы под обобщенную модель командира, но и сознательно сроднился бы со своим призванием, стал неразрывным единством с ним, – что предполагает сохранение самоидентификации и целостности вне функционального решения служебных задач и вне профессиональной среды.

Прежде чем развернуть основные моменты этой проблемы, хотелось бы обратить внимание на то, что наше осмысление здесь сознательно упускает из виду психологические особенности командира, специфику его психологической подготовки или реабилитации, – об этом экспертами достаточно сказано. Мы сосредоточимся на культурно-антропологической перспективе и, соответственно, на утверждении о настоятельности основательной философской подготовки, развивающей самосознание представителей командного состава. Не говоря уже об интегрирующей и ориентирующей роли философии для развития личности (не будем забывать, сколь важно в современной комплексной войне сохранять военачальнику устойчивую самоидентификацию, сколь важно быть способным принимать суверенные решения в ситуации неопределенности), не упоминая вполне очевидной необходимости владеть основами логики и семиотического анализа, – скажем еще раз о необходимости в условиях глобального информационного потока владеть основами медиааналитики.

В проблеме экзистенциального вызова, связанного с принятием решений, который ставит человека в заведомо известную ситуацию неразрешимых противоречий (например, между долгом и любовью, между справедливостью и милосердием) и требует личностной готовности сделать моральный выбор, можно выделить три ключевых момента. Во-первых, свободное признание личной ответственности; во-вторых, феномен добровольной самоотдачи командира; в-третьих, целостность в развитии личности командира, которое увязано с его профессиональным совершенствованием. Но здесь же кроется и проблема: остановка профессионального роста оставляет без «подпитки» командира, поиск других точек личностного роста – это болезненный и даже трагичный момент, когда нужна радикальная перекомпозиция. Наше рассмотрение было бы неполным без учета особенностей актуальной ситуации: она характеризуется всепроникающей информационно-медийной средой, ставшей неотъемлемым контекстом обитания, коммуникации, воспитания и образования человека. В этой среде размываются границы между истиной и ложью, что принято называть ситуацией постправды. Но говорить о ситуации постправды в медиасреде нужно в иных категориях, нежели чем о лжи в личных отношениях. Это не столько традиционно понимаемая ложь, сколько технологии – социальные (институциональные) технологии удержания или завоевания власти (к технологиям же едва ли применимы категории истины/ лжи, справедливости/несправедливости). Превентивными шагами в противостоянии медиатехнологиям было бы качественное образование в военных ВУЗах, в том числе внедрение уроков риторики и логики [2],[7], основ медиафилософии и медиаа-

налитики²³, но самое главное, формирование надежных основ самосознания, что традиционно является заботой философии.

2

В принятии суверенного решения крайне важным оказывается доверие людей командиру, без него решение не будет ни точным, ни успешным. Коллективная воля – важная категория, и командиру нужен авторитет, как распоряжение этой волей. С властью, делегированная ему по должности, такой авторитет не связан напрямую. Это не силовая влияние и не доминирование, но твердость коллективной убежденности: доверие других основано на доверии себе, а это последнее – на предельной честности командира перед собой и его неусыпном радении о справедливости. И здесь востребован опыт страдания, поскольку за честность приходится платить: будь то моральные муки, будь то неуверенность одинокого поиска, будь то выдерживание современной ситуации постправды, размывающей границы истины и лжи (именно поэтому наиболее уязвимы в современной медиасреде представители командного состава, для которых четкость диспозиций между истиной/ложью, справедливым/несправедливым должна быть непреложна). Поэтому, как это исстари повелось, военачальнику нужен философ, выступающий экспертом в критическом поиске истины, авторитетом в рациональности, не стремящимся при этом к лидированию: обсуждать, быть в диалоге с Другим и сохранять собственную автономность мышления – в этом сознательное устремление философии.

К этому добавим, что обучение военному мышлению – это не только уровень решения расчетных задач или отработка алгоритмов действий. Автоматические системы (принятия решения) и обучение на тренажерах приучают скорее не думать, чем думать, полагаясь на цифровые технологии. Однако без учета неопределенности и непредсказуемости, без провокации и отработки навыков гибкого нестандартного мышления, без исключительно интуитивного и искусного внимания к неоднородности помех и вторжений, а также к сложной композиции в случае многоцелевых и многокомпонентных действий, невозможно принимать адекватные решения. Только особое «стереоскопическое мышление», издавна практикуемое в философии, с ее обращенностью к человеку и к воздействию времени на человека (у которого время субъективно воспринимается и переживается), может оказать неоценимую помощь в образовании людей, принимающих решения. Военные действия – это не игра в крестики-нолики, цель которой уничтожение, и не манипуляция с абстрактными моделями, а командир – не геймер. Без морального выбора, сохраняющего исключительно человеческое в человеке, у командира нет надежды сохраниться не только как целостный и одухотворенный человек, но и как нестандартно творчески мыслящий и призванный служить общему благу.

Итак, в военной системе зачастую в угоду функциональному решению задач игнорируется человек с его особым внутренним миром, с его свободой воли (субъектностью и персональностью), что не может не иметь компенсаторных эффектов, связанных с утратой пространства личного экзистенциального времени, а это, рано или поздно ведет к сбою в успешности и точности принимаемых решений. И это уже не говоря о вполне объяснимой изолированности

²³ Как пишет Б.М.Шапошников еще в 20-ые годы XX века: «Мы совершенно не хотим сказать, что современный полководец должен являться развеселым малым, что называется «душа на распашку». Нет, он обязан быть сдержанным в своих суждениях и обращении с окружающими, но в то же время и не чуждаться последних, не вносить с собою ту напряженную атмосферу величия, отравленную недоверием к близстоящим людям, какую мы наблюдали всюду в империалистическую войну. Авторитет полководца должен держаться не на замкнутости, а на его внутренних качествах, выделяющих его среди окружающих. В былые времена повелители восточных стран считали необходимым возможно меньше показываться народу, дабы, создавая и поддерживая в последнем легенды о «божественном» своем происхождении, еще более укрепить свою власть. Ныне авторитет создается не отчуждением от масс, а, наоборот, широкой работой в их толще. Поэтому замкнутость не только не полезна, но, наоборот, вредна для современного военного вождя. Век военных мандаринов уже миновал...».[8]

и одиночестве человека, взявшего на себя личную ответственность за жизни людей, за представления о справедливости и правде общего дела.

3

Пример успешности современных политических лидеров говорит о том, что сегодня авторитет собирается иначе, не силовым образом: происходит соединение делегированной власти и использования особенностей медиасреды с ее специфической медиарациональностью. Медиасреда как стихия – это перманентный кризис, востребующий своевременного реагирования и точности выбора времени-места-языка высказывания, поскольку она поливариантна, гетерогенна, неопределенна, динамична, содержит большие данные, в том числе анонимные источники и сознательную дезинформацию, не говоря уже о потоках аффективных массовых настроений. Если в случае социальной правды (вспомним цитату из известного фильма: «Сила в правде») мы привыкли размышлять в категориях справедливости, консенсуса или доверия, то в оценке медиапотока нужна медианалитика как умение отличать: в чьих интересах сформулирован факт или событие, на каком языке, в каком контексте и в какой момент о них сообщается, в каких терминах и с каким подтекстом. Речь при этом вовсе не о правде/лжи, а о технологии переприсваивания дискурса, о манипулятивном завоевании мнений, о диктате повестки дня, об умении творить информационные пузыри. Это совсем другой ряд вопросов, несвязанный с личной моралью и личной ответственностью.

Война как неразумная стихия, явленная в медиасреде вседозволенностью пост-правды, представляет собой новый вид – войну медиаполитик. В глобальной цифровой деревне понятие политического врага как фиксированной антагонистической фигуры теряет смысл, все становятся друг другу противниками, то есть это гоббсовская «война всех против всех» [1]. Если в *политике* (**рациональной** по Клаузевицу) принципиальным является суверенное решение, определяющее Врага, объявляющее чрезвычайное положение, или учреждающее новый порядок (согласно Карлу Шмитту [9]), то *война* **иррациональна**: «история войн учит, что «слепой природный инстинкт» действительно играет огромную роль в ходе реальных военных действий. Нередко они выходят из-под контроля не только высшего государственного руководства, «политики», но и военного командования всех уровней. Это характерно и для внешних, и для «внутренних» войн» [4]. По мнению А.А.Свечина, «господство политики над стратегией не подлежит никакому сомнению», однако «Стратегия естественно стремится эмансипироваться от плохой политики, ... (ибо) обречена расплачиваться за все грехи политики»²⁴. Но политика, погруженная в медиастихию, поневоле становится «плохой»: она иначе разворачивает и реализует себя в контексте дигитализации разума, перестает быть традиционной политикой, а становится имиджевой, сценически батальной, даже беспредельным баттлом (чего только стоят заявления политиков и чиновников в соцсетях). Политика деконтекстуализируется, теряя связь с реальной жизнью на медиаарене, а это значит – забывает об ответственности, которая всегда локально и конкретно обусловлена.

Но когда политика перестала быть рассудком, под вопросом оказалась ее рациональность, и восторжествовала иррациональная стихия войны (пусть даже названная информационной, санкционной, имиджевой и проч.), то, возможно, встречное движение военной стратегии (с ее полным осознанием ответственности за применение силы) навстречу политике могло бы оста-

²⁴ «А. Свечин в своей «Стратегии» объясняет это тем, что «господство политики над стратегией»... «всегда вызывает сомнение в тех государствах» которые представляют организованное государство уже отживающего класса, находящегося в положении исторической обороны, режим которого подгнил и который вынужден вести нездоровую политику и жертвовать интересами целого для сохранения своего господства... Стратегия естественно стремится эмансипироваться от плохой политики, но без политики, в безвоздушном пространстве, стратегия существовать не может; она обречена расплачиваться за все грехи политики». [8]

новить воинственность последней²⁵. И здесь вновь встает вопрос о подготовке кадров военного управления, способных разумно и самостоятельно мыслить, принимать квалифицированные, дальновидные и ответственные решения.

Актуальным процессом сегодня является изменение человека под воздействием виртуальной социальной среды, включая социальные сети с их специфическим типом коммуникации, со стилем общения, заданным мессенджерами. Соответственно, дело обучения и воспитания военнослужащих сегодня – это отнюдь не формирование автоматически выполняемых и алгоритмизированных стереотипов и тем более не табуирование медиакommunikаций. Медиа, как кровь, связывающая организм, просачиваются и через культуру потребления, и через массовую кинопродукцию, и через открытое общение в социальных сетях. То, что необходимо сформировать – это навык критического мышления, способность дифференцировать информацию, различать контент и послание (аффективное или политическое по направленности), различать информационный шум и тенденции, то есть необходимо научить непрерывной оценке информационно-политической и медийной обстановки, научить медианалитике. Это предполагает и навыки аналитического мышления, декодирования смыслов и скрытых интересов, точное определение собственных ориентиров, и выдерживание интересов общего блага своего сообщества. Можно в этом смысле говорить о некоей информационной компетентности, которая гарантирует надежную навигацию в информационном потоке, а, следовательно, уберегает нас от «наведенных», несамостоятельных решений и поступков. Суверенность информационная сегодня – дело и забота каждого, «забота о себе» (М. уко), здесь не может быть коллективной ответственности. И этому необходимо учить как своеобразной медиаграмотности, укрепляя позицию личности.

Суверенность предполагает однозначность истолкования и определенность границ, которых ныне в прозрачном сетевом мире не стало. В медиасреде нет традиционных и привычных элементов пространственной логики организации: нет централизации, фрагментации, изоляции, иерархичности. Анри Лефевр, анализируя пространство, предлагает различать «ментальное (получающее определение у философов и математиков), физическое (получающее определение в чувственной практике и восприятии «природы») и социальное пространство, обнаруживающее свою специфику». Причем «социальное пространство есть социальный продукт» [6]. Но медиaprостранство, выступая полем брани и местом учреждения культурных практик, как стихия ускользает от подобных разделяющих рационализирующих усилий. Если геометрическое и географическое пространство воочию, телесно и архитектурно воплощают властные структуры, стратифицированы в соответствии с ними, то медиасреда скрывает как стихия эту непосредственную очевидность. Для нынешних властных отношений медиасреда выступает первофеноменом, новой «природой», ибо она не только экранирует их, но и определяет. Как и речь, медиасреда и вуалирует, и задает социальный порядок.

Итак, требование современной медиарациональности состояло бы в том, чтобы подобно тому, как путник в миражах пустыни продолжает свой путь вопреки «видимостям», так и разум сохранял бы свою способность самостоятельного ориентирования и невовлеченной, дистанцированной рефлексии в ситуации медиастихии с ее информационным потоком и от(у)влекающими сознание образами. Наша личность и способность свободного мышления не смешивается с цифрой, но в своей рефлексии уже принимает в расчет это «покрывало» цифрового

²⁵ Академик А.А.Кокошин пишет об «обратной связи военной стратегии, военных средств реализации политики с самой политикой»: «Проистекающие из формулы Клаузевица взаимоотношения между государственным политическим руководством и военным командованием и вооруженными силами в целом – это не просто «отношения между всадником и лошадью»; это набор взаимных встречных обязательств, взаимная ответственность друг перед другом при главенствующей роли политики... Принятие решений в области обороны, в сфере военной стратегии, как отмечалось, уже давно не просто отдача приказов на применение вооруженных сил в той или иной форме или в тех или иных масштабах. Это и принятие решений по конкретным военно-экономическим и военно-техническим вопросам, требующим весьма и весьма специальных знаний, опоры на серьезные научные разработки». [4]

мира, мы способны не заплутать в сетевых миражах и не быть запутанным фантомами или медиазавесами. И хотя процедура рефлексии усложняется в медиамире, но рациональность как *conditio humana* не разбавляется сетевой иррациональностью. Подобно тому как «открытие» структур бессознательного в психоанализе меняет способы осмысления индивидуального мыслительного процесса, а открытие классовой структуры общества в марксизме акцентирует социальную обусловленность мысли, так и учет медиасреды не иррационализирует, а проясняет стратегии рефлексии, делает более выпуклыми условия принятия суверенного решения и более отчетливыми формы достоверного (в науке) или доверительного сообщения (в ситуации постправды). Подобно тому, как прикрывающая тело одежда впервые делает интересным и значимым само тело; подобно тому, как покрывало Майи привлекает наши взоры и привлекает интерес через игру иллюзий к «потаенному» пути истины; наконец, подобно тому, как речь больше скрывает нежели раскрывает помыслы («Речь была дана человеку, чтобы скрывать свои мысли», – если процитировать Талейрана), точно так же медиасреда, гибридизируя оппозицию рациональное/иррациональное «в сторону цифровое», не только не «снимает вину» иррациональных проявлений человеческой экзистенции, но и обостряет проблему несправедливости и свободы, доброй воли и солидарности.

В статье «военное искусство» Энциклопедии военных и морских наук под редакцией Г.А.Леера [10] на первое место поставлен человек – воин и полководец: «Первая характеристическая черта природы военного искусства, признаваемая великими полководцами, обуславливает возможность внести упорядочение в область столь сложную по разнообразию составных факторов и еще более по разнообразию возможных взаимных сочетаний последних, обуславливает возможность применения божественного дара человеческой природы – предвидения (предусмотрительности), – дара до некоторой степени *руководства* явлениями и событиями...». Развитие этого дара, прежде всего для предотвращения развязывания военных конфликтов, требует пестования личности военачальника и постоянного внимания ко всей целостности его экзистенции, формирования и совершенствования навыков самостоятельного мышления и заботы о гармонизации личного мировосприятия.

Ссылки:

1. Гоббс Т. Левиафан. Философия власти с Александром Филипповым. М., 2016. – 672 с.
2. Зверев С.Э. Военная риторика в системе воспитания военнослужащих //Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №9(17), 2012.
3. Каспэ С. Чем торгует Левиафан? Критерии оценки конкурентоспособности государств на рынках спасения// Полития. № 3 (90), 2018. С. 6–30.
4. Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной безопасности России и международной безопасности. М., 2013. – 261 с.
5. Кьеркегор С. Понятие страха. М. 2017. – 217 с.
6. Лефевр А. Производство пространства. М. 2015. С. 41.
7. Зверев С.Э. Русский мат, бессмысленный и беспощадный, на войне и военной службе. СПб: Алетейя. 2022.
8. Шапошников Б. М. Мозг армии. В 3-х книгах. – М.-Л.: Государственное издательство. Отдел военной литературы. 1927–1929.
9. Шмитт К. Левиафан и учение о государстве Томаса Гоббса. СПб.: «Владимир Даль», 2006.—300 с.
10. Энциклопедия военных и морских наук /Под ред. Леера Г.А., СПб.: тип. В. Безобразова и Комп., 1883–1895. – Т. 2. С.235. Цит по: <http://militera.lib.ru/enc/enc1883/index.html>

§ 5. К проблеме возможности нравственного чувства и морального выбора

*Уважаемому коллеге по ВМА, другу, подводнику, человеку, –
Николаю Ивановичу Румянцеву посвящается, с сердечной
благодарностью*

Мы попытаемся представить сложное взаимодействие (чтобы не сказать столкновение) двух силовых влияний: универсализирующего воздействия медиасреды (с ее специфической медиарациональностью) и локального влияния культурной среды (на примере военно-морской традиции). Наш основной тезис состоит в том, что нравственное чувство и моральный выбор, определяющий Поступок человека, произрастают из «близкодействующего», непосредственного общения в локальной традиции, вырабатывающей свои ценности.

Собственные политики медиа

Сегодня политическая власть вынуждаема считаться с политиками медиа. Это и борьба за имидж, и за медиалидерство на альтернативных площадках мессенджеров и социальных сетей. И адаптация к языку и системе ценностей сетевого мира. Мы можем констатировать, что суверенная политическая власть теряет свою суверенность, поскольку (и насколько) ее биополитика определяется политиками медиа. То, с чем вынуждены считаться современные властные структуры, – это не результаты социологических опросов, не результаты петиций в социальных сетях и даже не мирные марши протеста. Власть вынуждена считаться с собственными политиками медиа, которые находят свое выражение в господстве языка социальных сетей. Контртенденцией, приостановившей господство политик медиа и вернувшей власти биополитическую мощь, стала пандемия. Однако действенность биополитических мер в России – под вопросом.

В экзистенциальном плане речь идет об изменении во взаимоотношении человека со временем и с самим собой. В случае Воинского союза главным всегда было выиграть у Врага время, и это время жизни. Однако время уже выиграли у нас современные медиа, своевольно задающие его разметку. Что происходит с человеком традиционной военной культуры в связи с погружением в новую медиасреду, размывающую прежде надежные границы, в том числе между войной и миром, между политическими субъектами и акторами, между прямыми и непрямыми действиями? Что происходит с мышлением человека, воображение которого покорено и захвачено виртуальными картинками медиареальности, в том числе имиджами и демонстрациями, общением в мессенджерах, сюжетами и сценариями, развертываемыми в режиме мультипликации: наше воображаемое мобилизовано медиа, динамизировалось и уже оторвалось от темпов реального развертывания (сил) в линейных (геометричных и календарных) пространстве и времени.

Политики медиа сказываются, во-первых, в рассредоточении (мультипликации и фрагментации нашего мышления); во-вторых, медиа ведут к забвению бытийного времени; и, в-третьих, замещают собой совместное бытие, непосредственно и лицом к лицу с точностью размежевания и идентичности, в том числе при передаче традиционной культурной практики Воинского Союза из рук в руки. Посредник замещает собой все те подвижные и динамичные связи, которые устанавливаются людьми ситуативно; медиа подменяют наше общение своим Посланием, а наше мышление – образом (имиджем); наполняя своим контентом, оставляют без аутентичной (адекватной конечной человеческой экзистенции) разметки времени.

Человек – существо экс-центричное, согласно философской антропологии Хельмута Плеснера, он способен не только «быть телом», но и «иметь тело», покидать свои пределы, трансцендировать и опредмечивать свое бытие. Однако этой дистанции к своему непосредственному бытию он должен достичь сам, что становится собственно его культурой. Но вот медиа замещают отношение человека к себе самому. Они встречаются, изымая сложную работу самосознания по изобретению самим человеком соотнесенности с миром, по мучительному прорубанию лейбницевских окон или пестованию отростков души. Тем самым они замещают культуру, отнимая свободу самоуверенности. Собственные политики медиа следует себе представлять не только как завоевание власти – медиа над человеком, – но и как добровольное вверение человеком части своей свободы медиасреде. С медиасредой мы еще на шаг приблизились к утрате своей (проклятой) свободы и к избавлению от себя самого, от обреченной соотнесенности внутреннего мира с самим собой, от самотождественности разума «я есть я». Все становится сплошной политикой: медиа овладевают нами, а мы овладеваем медиами, – тотальная стихия цифровизации.

Военно-морская традиция

История России как *континентальной* страны складывалась вокруг территорий, – бескрайних степей, непроходимых лесов и болот, мощных рек. Человек в такой культуре, прежде всего, – насельник земли и хозяин поместий; община и охраняющая ее дружина собирались на основе солидарности в «общем деле». Не частное право (Запад) и не личная преданность правителю (Восток), но дело солидарного освоения земель и покорения климатически непригодных территорий, преодоления и попечения в труде и заботе – было основой объединения, скрепляло сообщество и закаляло характер. Тексты литературной и философской традиции также характеризуют Россию как континентальную державу, опирающуюся на непреложность законов социальной *справедливости* и *солидарности*. И это не космические законы, не законы наживы (законы рынка), не Завет с Богом, но законы справедливого землеустройства и рачительного совместного пользования землей, «которая воздаст по справедливости за труды» [7]. Рассматривая историю как историю народов, Лев Николаевич Гумилев указывает на значимость категории пространства, ландшафта для России: «Каждый коллектив, чтобы жить на Земле, должен приспособиться (адаптироваться) к условиям ландшафта, в пределах которого ему приходится жить. Связи этноса с окружающей природой рожают пространственные взаимоотношения этносов между собой» [3].

Однако при всей обусловленности российского социального сознания категориями пространства и *топосом* с его ландшафтным ритмом, построение секулярных государственных структур, политических институтов, формирование бюрократического аппарата связано для России с выходом к морю, к границам континентальных пространств и с завоеванием открытого (глобального) горизонта. Открытие просторов морской стихии послужило для России основой в развитии государственности, в развитии экономических и политических структур и в укреплении суверенности политической власти. Открытый горизонт моря – это и *коммуникация*, ведущая к развитию торговли и культуры, и романтика странствий и самопреодоления, и тяга к освоению чужеродной и своевольной стихии. Российские путешественники покоряют Арктику и достигают Антарктиды, создавая свои культурные образцы отважных и беззаветных первооткрывателей и доблестных мореплавателей. Дерзостное стремление и своевольное преодоление препятствий, как и верность в служении, укрепляют самосознание, формируют культурные образцы. Море как непредсказуемая стихия становится местом проверки зрелости духа народа, способности к моральному императиву и жизнеспособности его культуры в целом.

Специфические традиции российского флота наряду с международными морскими традициями и негласными правилами, сложившимися в едином мировом морском простран-

стве, – которое всегда было глобальным, как современное медиапространство, – связывают нас с другими народами нашей планеты. Именно такая **амбивалентность** выходит на первый план сегодня, когда мир стал «глобальной деревней», единым цифровым пространством: в жизни и традициях флота есть и универсальное, и своеобразное, – то, что отсылает к мифопоэтической памяти, к языку и истории. Особенность морских традиций в том, что их **язык** универсальный, взлелеянный самой стихией моря, поэтому, сохраняя своеобразие и предьявляя его в качестве репрезентации культуры, морская традиция страны предполагает открытость к взаимопониманию, к встрече в нейтральных водах, к взаимному уважению и братству перед лицом мирового Океаноса. Этот важный потенциал флотских традиций, содержащий в себе наряду с любовью к родному Дому и Земле, добрую волю признания других, взаимопомощи и солидарности, крайне актуален в современном мире. Также как актуально специфическое военно-морское мышление, имеющее прецедентный характер, мобилизованное неопределенностью и непредсказуемостью стихии. В современной гибридной войне с неопределенными акторами, асимметричными и непрямыми действиями (прокси-войны) востребованы способности и навыки, пестовавшиеся в военно-морской культуре и военно-морском искусстве.

В непредсказуемой морской стихии развивается эффективное ситуационное мышление, помогающее принимать адекватные решения и давать точные оценки, способность быстрого и суверенного реагирования, то, что еще Аристотель определяет как фронезис: «суждения, способствующие действию по поводу вещей, хороших или плохих для человека, [о том,] какие [вещи являются благами] для хорошей жизни». Именно эта, «практическая мудрость» и ремесленное (профессиональное и техническое) знание помогают принимать решения и корректно действовать, уметь дифференцировать добрую и злую волю в конкретных жизненных ситуациях. Эта своеобразная «экзистенциальная компетенция», которая может быть приобретена через личный опыт общения с людьми, способными различать социальные ситуации и формировать специфическое отношение к ним, – то, что отличает флотскую традицию с ее особой сплоченностью (братством) и развитой системой воспитания (сыновства) через «общее дело» (Н.Федоров). Стихия моря сама формирует чувство *ответственности* каждого за всех и стремление к всеобщему спасению, что очень близко духу народа, нашедшему, например, выражение в учении Николая Фёдорова²⁶. Идея воскрешения, торжества жизни над смертью, опирается у него не на Отцовство, а на братство и на сыновство. И братство выступает спасением от «ненавистной раздельности мира и всех проистекающих из нее бедствий» [5].

Адмирал Ф.Ф.Ушаков, например, ориентировался при воспитании моряков на традиционные артельность и общинность, ответственность за общее дело русского человека. Братско-сыновнее чувство, облегчавшее воспитание на флоте, состояло в том, что товарищи на корабле были друг для друга частью Отчизны, и каждый, как считал Ф.Ф.Ушаков, должен был понимать свое предназначение и обязанности: осознанная работа рядового состава усиливала чувство сопричастности людей к решению общих задач и повышало боеготовность. Ф.Ф.Ушаков внедрил на кораблях Черноморского флота правило, ставшее традицией русского флота: «уметь действовать споро, расторопно, артельно, делать все безоплошно, без ошибок, без дефектов, точно и четко». Продолжая традицию, П.С.Нахимов, Г.И.Бутаков, С.О.Макаров закрепили ее институционально, что стало основой для русского воинского характера как такового, превратившись со временем в *среду* формирования национального характера (братское пространство). Ее характеризовали: приучение личного состава кораблей к сверхнапряженной работе в условиях непрерывного и длительного пребывания в морской среде, к свое-

²⁶ «Индивидуалистической, эгоистической теории познания Федоров противопоставляет принцип соборности, братства, сыновства в познании. Познайте друг друга – вот чего прежде всего требует Федоров. Будьте в деле познания, как и во всем, сынами своих отцов, помнящими родство. Познать истину может не человек, не автономная личность, начинающая путь от себя, а сын человеческий, принявший предание, заветы предков, познающий со всеми и для всех», – пишет Н.Бердяев о Федорове [2].

образной морской соборности, выраженной в слаженном, с полной отдачей сил коллективном действии (вахтенная соборность), но и к принципу «частного почина» в морском бою и к доверию суверенному командирскому решению. Например, А.А.Ливен пишет о значении укрепляемой временем личной связи начальника с подчиненными, о необходимости взаимного доверия и сочувствия, поскольку эффективно действовать можно только в единении общей воли, когда в подчиненных осуществляется воля начальника, а не только формальное исполнение его приказа: «Если подчиненные видали своего начальника в самой разнообразной обстановке, если они знакомы с его взглядами, стремлениями и характером, и если они привыкли в продолжении долгого времени всегда действовать в его духе и по его соображениям, то они в сомнительных случаях догадываются, что им делать для осуществления его воли. В военном деле почти все случаи сомнительны...» [4]. Содействие коллективному усилию, совместное дело, – что является нравственной ценностью в русской культуре, – состоит в доверии командиру. И личная ответственность командира в том, чтобы не обмануть это культурой подпитываемое доверие людей.

Размывание границ через глобализацию единого медиапространства ведет к утрате подлинности своего дела и своего сообщества, уникальности собственной судьбы, как утрачивает ауру произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости, согласно В.Беньямину [1]. Монотонное мелькание кадров, медиа-фрагментов и медиасюжетов не дает свершиться самоидентификации, в том числе определению ценностей в рамках своего сообщества, совместного проживания и действий людей. Забота, попечение, совершенствование, созерцание красоты, личный моральный выбор и следующий из него Поступок, наконец, утверждение личной и социальной чести – это дело, требующее индивидуального решения, мгновения решимости и ответственного шага. Но череда медиаобразов, новостной шум, многократная прокрутка визуального ряда растрчивает время личного усилия до скуки и неопределенности границ личного поступка. Сегодня уже можно сказать: «Голливуд внутри нас», – интериоризован и стал нормой нашего мышления и действия.

Также как важен язык со всеми тонкостями и нюансами для сохранения культурной идентичности народа, так важны его культурные институты, сберегающие целостность и культуру народа. В конечном итоге, только в среде культурной традиции могут сформироваться проявления доблести, подвиг самопожертвования, способность «пострадать за други своя». В такой среде только возможно совершенствование, «животворящий дух», а не мертвая Буква, пестование лучших личных образцов, о которых, вслед за Нахимовым, говорят: «Душою чист и любит море». Созданная адмиралом Павлом Степановичем Нахимов национальная морская система воспитания воинских качеств по сей день, несмотря на перипетии сложной истории XX века является культурным достоянием.

Или другой пример: принцип военно-морского обучения «Помни войну» адмирала Степана Осиповича Макарова, который стал всеобщим «моральным императивом» для русского воинства, хотя и написан для флота: «На море большое сражение может последовать совершенно без предварительной подготовки, и тот флот, на котором личный состав еще в мирное время освоился с мыслью погибнуть с честью, тот флот будет иметь большое нравственное преимущество над противником». В этом принципе проводится и удерживается граница между повседневной деятельностью мирного времени с его неизбежным бюрократизмом, к которому склона регламентированная военная система, и сакрализированным состоянием, когда человек поставлен войной на свой экзистенциальный рубеж, «перед лицом смерти».

Если обратиться к этимологии слова «образование», то очевидна отсылка к «образу». Образ, образец, всегда был важным компонентом сохранения и трансляции традиции: образу непосредственных учителей подражали, его воспроизводили из поколения в поколение. Сегодня стало принятым говорить о социальных, политических, педагогических *технологиях*, что определяется современным отношением к человеку и обществу, отождествляющим их

с управляемыми и контролируемыми механизмами. Но технологии рассчитаны на фиксированные, ограниченные задачи, и связаны с показателями эффективности и оптимальности их решения. Преследуя универсальность и функциональность, то есть независимость от культурно-исторического контекста и от личностей, от локальных, бережно хранимых культурных практик воспитания человека и сплочения сообщества, технология является проекцией на мир человека производственно-индустриального процесса, с его алгоритмами и программами. И хотя технология (в том числе политическая, управленческая, педагогическая) позволяет получить предсказуемый и ожидаемый результат, включает инструментализацию всех сфер жизни и цифровизацию компетенций в угоду бюрократической унификации, но межличностные связи, традиционные для воинского союза и особенно значимые в морском братстве в чужеродной морской стихии, – формируются социально-культурной средой с уважением к каждой уникальной личности. Методы морской системы воспитания, наследуемые и передаваемые в боевых походах, представляют собой актуальную ценность, а не являются лишь архивным и субкультурным историческим наследием. Ценность их состоит в утопическом горизонте, в неуловимом духе, который питает эти методы: в нем сосредоточена доблесть и слава, величие и честь, самоотверженность и великодушие народа. Вот как точно об этом пишет Александр Дмитриевич Бубнов: «Вождь, не чувствующий в себе биения духовного пульса нации, не понимающий и не учитывающий ее национальных особенностей (не связанный тесно с предводимой им вооруженной силой; отсутствие в его творчестве влияния духа и характера нации, ведет к духовному разрыву его с вооруженной силой, что неизбежно должно отразиться на том напряжении, которое она способна дать) – не может рассчитывать вести ее вооруженную силу за собой, об этом влиянии нации на боевое творчество прекрасно говорит Л.Н.Толстой, разбирая причины, почему Кутузов так упорно держался своего метода действий... (часть IV глава V): «Но каким образом тогда этот старый человек, один, в противность мнения всех, мог угадать так верно значение народного смысла событий, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему? Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями, из в немилости находящегося старика, выбрать его, против воли царя, в представители народной войны» [8, с.100]. Александр Васильевич Немитц, анализируя Русско-Японскую войну и критикуя высшее командование российского флота, также подчеркивал важность единственного народу управляющего состава, исполненность его величием и личной ответственностью: «Способность народа побеждать зарождается в виде страстного духа, стремление к славе и подвигам, на верхах его военной организации. Только оттуда может начать распространяться эта творческая жажда по всей массе личного состава военных сил. Только при этом условии флоты и армии находят победу. Когда иссякнут в горах родники, питавшие мощные потоки, высохнут и орошавшиеся когда-то ими широкие и мног шумные долины» [9].

Об условиях возможности морального решения

Если есть представители культуры, способные совершать моральный выбор, не раздумывая о непосредственной и конвертируемой «окупаемости» самоотдачи и самопожертвования, и если есть среда, в которой высоко оценивается совесть человека (прежде всего, крупного военачальника и командира), то у культуры есть будущее. Стихия – всегда вызов, но выдержать его можно при предъявлении «здесь и сейчас» силы духа, представленного сложными метафорическими конструктами и речевыми формулами, сложными образцами поведения в критической ситуации, сложными и неукоснительными формами табуирования и дисциплинирования, и способностью к самоотдаче. Самопожертвование (и подчеркнем здесь момент доброй воли, своевольного решения) в интересах общего блага и общего дела, самоот-

дача – это концентрированная форма личного ответа, и упрощения (банализация, примитивизация, симуляция или имитация) в культуре, ориентация на потребление и голый расчет, ведут к исчезновению личностей, способных к возвышенному, немотивированному выгодой и прибылью Подвигу, – людей, движимых высшими устремлениями. В отличие от хорошо оплачиваемых дублеров, которые девальвируют образ Героя в культуре.

Борьба за воображаемое, которая характерна для собственных политик медиа, властно замещающих наше непосредственное общение и репрессирующих наше самосознание, ведет к «забвению бытия» (как всякая техника, согласно Хайдеггеру), к разрушению сложного многоуровневого и многопланового символического пространства, самой среды морального выбора. Если честь как раствор скрепляет традиционный воинский союз, то в случае отсутствия такой общей среды-честь, (как в случае ЧВК), мы имеем дело с сознанием вне воинской культуры, то есть с сознанием, регулируемым конкуренцией и рынком услуг. Военная культура – это конгломерат из множества практик, множества горизонтальных и вертикальных связей, множества символов и памятных прецедентов, множества личностей (которых называют героями, ветеранами, образцами). В ситуации, когда всякая процедура идентификации ставится под вопрос (спросим себя, например, обладают ли ЧВК российского происхождения русской воинской культурой), в этой ситуации компенсаторным образом следовало бы переосмыслить и перепреопределить базовые признаки культуры Воинского союза, чтобы найти новые способы ее самозакрепления и развития.

Сегодняшний вызов культуре военного мышления состоит в том, что мы погружены в *настоящее* медиа, – в сиюминутное воспроизводство медиасцены. Если человек Средневековья мыслил вечностью как временем жизни души, а человек Просвещения мыслил бесконечностью природы и ее мощи, то политики медиа обесценивают все то, что вне их актуального бытия. Подобно тому, как герои Тарантино в фильме «Однажды в Голливуде» полностью поглощены миром Голливуда и вне этого мира для них ничего нет – ни Италии с ее классическим искусством, ни политической жизни, ни глобальных проблем или проблем науки, – есть только медиасцена и жизнь на ней. Это античный театр наоборот: не зрители очищаются в нем душой, дистанцированно глядя на трагическую игру возвышенных чувств и произвол судьбы, а все стали актерами своих собственных пьес, безо всякой дистанции и безо всякого стороннего суждения, выраженного Хором, и разворачивается все это без пространственных или временных ограничений (без амфитеатра и без кулис, без Пролога, перипетии и без Экзода). Вечное настоящее, вечное дление онлайн в режиме зрелища («Общество спектакля» Ги Дебора). И это проблема отсутствия самой среды морального решения. Ее заменила цифровая среда, с ее нуль-размерностью цифры, непрерывной мультипликацией и самозаполнением цифровой пустоты.

Воинская культура держится не только единоначалием как принципом управления, но и добровольным принятием приоритета общего блага, общей славы над личным корыстным интересом, общих ценностей коллективной славы и личной чести. И как раз очень важно формировать и поддерживать эту *среду* чести, в которой принято стыдиться распушенности, малодушия, безропотного рабского подчинения в том числе «законам рынка и конкуренции», как и коррумпированной покорности, несамостоятельности в решениях, необразованности, трусости, лени, подлости. Важно то, что понятие чести форматируется внутри конкретного воинского братства, то есть его невозможно навязать извне, как невозможно извне отнять честь принадлежности к воинскому Союзу. Честь – это культурное достояние, его нужно беречь как основу идентификации и условие слаженности боевых действий. Опасно, когда образец традиционного понимания «честь» подменяется имиджем «честь», в том числе транслируемыми медиасюжетами (кино, компьютерные игры) вполне привлекательной самурайской чести или чести протестантского индивидуализированного Героя («лидера»). Воинский союз может найти опору в себе, в своих исторических образцах совместного сплоченного действия,

что наполняет бытие каждого человека смыслом. И «поддержка в строю», как компонента коллективной чести – означает удержать другого как часть себя. Именно морская традиция с ее равенством всех членов экипажа перед лицом смерти (особенно в случае подплава) без конкуренции, соперничества, ревности, – предполагает равенство и в готовности к самопожертвованию. «Военный флот с его сложной организацией и интенсивной сосредоточенностью силы есть пробный камень для культурности обладающего им народа....Дикие народы отличаются неспособностью оценить такую отвлеченную величину как человеческую работу, а особенно умственную. Деньги и материал им кажутся несравненно ценнее. Сам труд оценивается не по качеству, а по количеству. Готовы вознаградить лишь тяжесть усилия и его продолжительность. Об оценке труда по его значению для окружающих и по его влиянию на исход дела малоразвитые люди понятия не имеют», – пишет в 1908 г. вице-адмирал А.А.Ливен в знаменитом труде «Дух и дисциплина нашего флота».

Русское слово «честь» происходит от слова «**часть**», и это не только часть добычи, а еще и **сопричастность** общему делу и общей **славе**. Девальвация Поступка и деградация Слова происходят в ситуации постправды, заданной медиасредой как высокоскоростным универсальным пространством, ведь способность к поступку зреет в душе медленно. Одновременно в медиасреде само Слово теряет свой особый сакральный характер, слова ничего не значат и в слова никто не вдумывается: важен только мгновенный эффект.

Интересным и удивительным фактом было для меня свидетельство о бригае «Меркурий» тогдашними «архаичными» СМИ (газетной эпохи), оно *обеими* противоборствующими сторонами признавалось в качестве славного действия (14 (26) мая 1829 года): «Мы не могли принудить его сдаться, – писал один из *турецких* офицеров. – Он сражался, отступая и маневрируя, со всем военным искусством, так, что мы, стыдно признаться, прекратили сражение, между тем как он, торжествуя, продолжал свой путь... Если древние и новые летописи являют нам опыты храбрости, то сей затмит все прочие, и свидетельство о нем заслуживает быть начертанным золотыми буквами в храме славы. Капитан сей был Казарский, а имя бригада – «Меркурий». Контр-адмирал Истомин о морях «Меркурия» писал так: «Такого самоотвержения, такой героической стойкости пусть ищут в других нациях со свечой...» Позднее в журнале «Современник», основанном Александром Пушкиным в 1836 году, было отмечено: «Предпочитая явную смерть бесчестию плена, командир бригада с твердостью выдержал трехчасовое сражение со своими исполинскими противниками и, наконец, заставил их удалиться. Поражение турок в нравственном отношении было полное и совершенное». Трудно представить сегодняшнее «нравственное поражение», каким бы оно могло быть?

Современные возможности технической и технологической симуляции, динамично и многократно воспроизводящей подобия, когда сконструированный имидж приобретают силу массового воздействия, определяя восприятие, чувствование и мышление, ведут к утрате уникальности личного решения. Зрелищный и игровой цифровой образ, массово и легко повторяемый, позволяет на уровне воображения присвоить традиционные модели, служившие культурной матрицей и предполагающие длительное формирование, пестование, культивирование и усердное практикование лучших качеств, присущих, например, нашей флотской традиции: сплоченность, воинское товарищество, подчинение личных стремлений общим, единство централизованной воли к победе и иерархию, доверие военному начальнику и неукоснительное исполнение приказа, аскетическую дисциплину и самоотверженность. Тем не менее, смеем надеяться, что постепенно вырабатывается и иммунитет к цифровому образу и его фикциям, к поверхностному демонстративному имиджу. Ведь на флоте всегда было сопротивление формализму, плац-парадности и очковитирательству, некомпетентности, которая могла обернуться общей гибелью.

Завершая, подчеркнем еще раз, что нравственное чувство и моральный выбор невозможны вне самой живой и животворящей культурной среды, вне живого духа – в нашем случае

военной культуры. Перформативная культурная практика может исполняться только на сцене, созданной актуальным воинским союзом. Понятия эти – «честь», «воинское братство», «воинская слава», и стоящие за ними всегда прецедентные проявления личного решения, – являются сложными культурными конгломератами. Этот культурный конгломерат не есть нечто простое и ясное как день, не усваивается мгновенно и дистанционно, но связан с жертвой эгоистическими интересами. Потому на такой весьма сложный морального качества поступок способен человек далеко не по умолчанию. Как пишет генерал-майор Е.И.Мартынов в 1899 г.: «Каждый народ, в известную эпоху, имеет свой политический идеал... Если мы видим народ, который не имеет более никаких политических целей впереди, которому нечего желать и не за что бороться, то мы можем быть уверены, что он уже выполнил свою роль в истории, что он клонится к упадку, находится в периоде вырождения» [6].

Ссылки:

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: Медиум, 1996. – 240 с.
2. Бердяев Н. А. Религия воскрешения («Философия общего дела» Н. Ф. Федорова) // Грёзы о Земле и небе. СПб., 1995. С. 163—213.
3. Гумилёв Л.. От Руси до России / Л.Н. Гумилев. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 364 с.
4. Ливен А.А. Дух и дисциплина нашего флота. – С.Петербург: Военная типография императрицы Екатерины Великой. 1914. – 47 с.
5. Федоров Н.Ф. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим. // Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4-ех томах. Т.1. М.: Изд. Группа «Прогресс», 1995.
6. «...хорошо забытое старое»/Сб.статей. Е.И.Мартынов, А.А.Свечин, С.Ф.Ахромеев. М., 1991. – 192 с. (Из истории отечественной военной мысли).
7. Шмитт К. Номос Земли. – М.: Владимир Даль, 2008. – 672 с.
8. Бубнов А.Д. Командующий флотом в сражении. 1918.
9. Немитц А.В. Очерки по истории русско-японской войны. Лекции, читанные в Николаевской мор.академии в 1909–1912 гг. Т. 1–2. СПб, 1912.

Часть II. Мир медиа

§ 1. Медиа-война и медиа-политика: проблема разграничения

1

«Законы созревания книг в душах их авторов, быть может, не менее таинственны, нежели законы произрастания трюфелей на благоуханных перигорских равнинах», – пишет Бальзак в XIX веке. Но в XXI веке, в мире господства социальных и медиа- технологий, таинственность следовало бы признать только за трюфелями. Подобным же образом обстоит, по всей видимости, со знаменитой формулой Клаузевица о соотношении войны и политики. В современной гибридной войне, включающей в себя все направления воздействия, вовлекающей все наличные силы, использующей все доступные средства и способы (прямые и косвенные, симметричные и асимметричные, вооруженную борьбу регулярными силами наряду с иррегулярными формированиями), придется оставить только одно из двух: политику, превратившуюся в войну, или войну, забывшую идеи Просвещения о главенстве политики. Об утрате с таким трудом учреждавшейся границы между этими понятиями свидетельствует уже сам язык современных политиков, отринувший примиряющий тон великодушия, забывший уверения в миролюбии и доброй воле. Тем временем война, как и трюфели, по-прежнему сохраняет свою иррациональную природу, тогда как рациональная, по замыслу Клаузевица, политика превращается в технологию, *воинственную* по своему существу, если вспомнить Хайдеггера [1]. И музы умолкают, и право становится безголосым. *Inter arma silent leges*.

Легкости в снятии классического разграничения между войной и политикой, способствовало массовое распространение таких терминов как «информационная война», «медиавойна», «кибервойна» и «информационное насилие», не уравновешенное, соответственно, учреждением таких терминов как «информационное согласие», «медианейтралитет», «правовое регулирование киберсферы», «формирование информационных договоренностей», «контроль в сфере информационно-технологического воздействия», «медиаэкология». Духи войны, отозвавшись на свои имена, пришли в неистовство в новой цифровой сфере, не будучи стреножены здравым рассудком и не сдерживаемы политической волей. Политика отстала от технологий. И вот уже неограниченная ничем медиавойна как разыгравшееся воображение (известно ведь, кого рождает сон разума) дополняется в своей экспансии другими видами воинственных действий, ставшими совершенно естественным ее продолжением: санкционная война, энергетическая, экономическая, консциентальная война, войны исторической памяти и пр., – ряд ничем не ограничен, если размываются границы между политикой и войной. Всякая политика отныне уже становится войной, поскольку погружена в дискурсивное поле «стратегического лидерства» и «борьбы суверенитетов».

То, чему искало меру и ограничительную рамку Просвещение в лице Клаузевица, – война как неразумная стихия, – становится перверсивной реальностью в мире цифровых технологий. Что можно сказать о современной гибридной войне, гидре и химере одновременно, – асимметричной, бессубъектной, повсеместно иррегулярной, силами неопределенных в своем правовом статусе ЧВК? В ней устрашает серая зона вседозволенности, усиленная скоростью, дополненная технологиями искусственного интеллекта, сопровождаемая неограниченным манипулированием в медиасреде. И эта вседозволенность – не продолжение политики

(«разумного управления благородного правителя»), это сама политика, явленная в бессилии разума. Неэффективным стало само различие между политикой и войной. У нас есть только война в разных формах: символической, экономической, информационной. В глобальной цифровой деревне понятие политического врага как фиксированной антагонистической фигуры теряет смысл, все становятся друг другу конкурентами и противниками. Политика в контексте дигитализации разума перестает быть традиционной политикой, становясь имиджевой, сценически батальной, потерявшим пределы баттлом. Таково неизбежное влияние воинственных по своей сути (медиа)технологий, воздействующих на нас самих.

Итак, если политика перестала быть рассудочной, под вопросом оказалась ее рациональность, восторжествовала стихия войны, поскольку разум более не способен сдерживать природные силы разрушения, то, возможно, встречное движение стратегии навстречу политике могло бы остановить воинственность последней. Новая медиарациональность сбивает с толку политический разум, но не прагматизм военных.

2

Второй вопрос состоит в том, что стало с человеком как *политическим* животным, что с ним происходит не как с атомарным индивидом и не как с видом, а как с политическим существом, наделенным политической волей и политическим правом? Возможен ли *Zoon politikon* в ситуации постправды? Если под вопросом оказалась способность разума к овладению и удержанию внутренней стихии медиамира, затопившей все разграничительные столбы, то вызывает сомнение способность к встрече с другим и к солидаризации автономных волей. Автономность личности как условие политической культуры связана не с усвоенным «кодом», как гарантированным, детерминированным процессом разворачивания в человеке наперед заданного, но личность как лик и ипостась предполагает политическую свободу – зазор, предоставляемый культурной практикой. Как обстоит с этим в ситуации постправды, исключаяющей определенность ориентиров?

Перед лицом аналогового мира человек искал меру в себе самом: определял порядок, выстраивал иерархии и приоритеты. Отмеряя и фрагментируя, цифровой разум лишает нас возможности стать самим себе мерой. Можно было бы говорить о разрушительности «цифры»: все человеческое обнуляет цифра, ибо всем овладевает, наделяя своим равнодушным шифром. Перед лицом дигитализации как господства универсальной единицы человек теряет нить времени, – нить Ариадны или нить веретена Пенелопы. Время со всеми его странными свертками (возвращениями, воскрешениями и перебоями), – превратилось в линейку потребления, в киловатт/часы и километро/минуты. Пенелопа разучилась задумчиво *распускать* ковер, а мы больше не слышим вопросов, требующих путеводной нити. Под вопросом в мире цифры оказывается сам *animal rationale*, ибо он лишний в тотально измеримом мире, где данные и расчет «перекрыли» его: «гигантизм как качество количественного», – называет это Хайдеггер в «Черных тетрадах» [6, с. 494.]. Хотя моральный выбор совершается всегда вопреки принятым меркам и стереотипам, вопреки универсально объяснимым мотивам, однако иррациональное исчисление еще нужно обосновать в мире «цифры».

Медиавойна уже давно преуспела в борьбе за воображаемое: визуальные образы, агитационное искусство манипуляции словами и концептами. В этом смысле в медиасреде мы имеем дело с обезличенной конвергенцией всех жанров: «на войне как на войне». Театром военных действий, на котором происходит столкновение символических сил, становится наша способность воображения. А риск поражения в случае имиджевых войн сводится при «полной безопасности» тела к полному подчинению воли. Точность выбора образа, меткость его попадания в ожидаемое и желаемое, массовость воздействия – определяют победу над коллективным воображаемым.

Медиасреда как результат невидимой работы медиа, встроенных в нас самих, определяется двумя сопричастующими полюсами: производство и потребление контента. Сегодняшний политический лидер – актер на сцене в глобальной медиадеревне. Если воспользоваться формулировкой социолога А.Ф.Филиппов, которую он использует для характеристики гоббсовского государства: «Авторы потеряли контроль над актером» [2], – то в современном глобальном медиапространстве невозможно различать актера и автора, все сливается в единый хор глобальной деревни. В отличие от субъект-объектных отношений времен Клаузевица, медиа-реальность игнорирует оппозиции классической рациональности и, в первую очередь, четкость деления на реальную часть и мнимую – воображаемую, вымышленную, виртуальную. Кажется, мы уже не можем выделить, в чем состоит иррациональность иррационального. Все позволено.

Новые средства коммуникации порождают новую конфигурацию человека политического, отличительной чертой которого является трансграничность, – присутствие одновременно и везде. Гениальное сочетание разнородных позиций без намека на противоречие. Противоречие – удел голой экзистенции, но не мира медиа.

3

Государственное политическое руководство, тем не менее, следует, насколько возможно четко, отличать от военного командования. Введение этого различия необходимо для того, чтобы в стихии медиавойны сохранить момент *рационального* обоснования и *оправданного* решения, чтобы не дать возобладать духам войны и ненависти. Перекидывая мост между войной и политикой, Клаузевиц тем самым рационализирует войну. Конечно, он хочет «просвещенной» войны, не безобразной резни с духами войны и жаждой крови, не бесславных ублюдков, мстящих и фанатичных. Он санкционирует войну просвещенную, рациональную. Хотя кто такую в реальности видел? Тем не менее, сегодня линии разграничения войны и политики должны быть пересмотрены и заново учреждены в правовом и даже концептуальном аспектах²⁷, в моральном ключе, учитывая безграничную, всеобщую и массовую, стихию цифровой формы разума.

Соединяя войну с политикой, Клаузевиц дьявольски оправдывает ее. Кант указывает в «Вечном мире» на то, что «война дурна тем, что больше создает злых людей, чем уничтожает их» [3]. Ницше, хотя и прославляет воинственность и дерзость человека, но не оправдывает войны. Оправдание войны аморально. Вражда, хотя и неизбежна по Гераклиту, может быть для некоторых даже увлекательна (состязательность, агон, конкуренция), но она не может быть оправдана. Медиавражда должна быть также при всей ее неизбежности осуждена. Медиавойна должна обрести свои границы. Этого пока нет.

Проблема сегодня уже давно не в фейках и их эмоциональных разоблачениях, – к ситуации постправды мы уже привыкли, к переписыванию истины и перекодированию событий, не говоря уже о властном форматировании новостной повестки и вместе с ней образа мышления и чувствования. Но стирается само различие между образом, словом, событием, – все становится пустым знаком для производства нужного эффекта на потребительскую аудиторию; только производство и потреблением имеют свой бессмысленный смысл. Стирание границы между войной и политикой выражается в едином медиапространстве в неразличимости слова и дела. В тотальной медиа-сетевой среде само Слово теряет свой особый твердый как

²⁷ Есть и контрдвижение, как свидетельствует академик А.А.Кокошин: «Военная стратегия приобретает все более политизированный характер благодаря свойству, которое может показаться парадоксальным на первый взгляд, – она не только служит войне, но и может являться средством поддержания мира. Военная стратегия во многих странах призвана обеспечивать во все большей степени предотвращение войны, сдерживание потенциального агрессора от применения военной силы. Сдерживание становится все более сложным и изощренным по сравнению с периодом холодной войны, когда оно было основано на страхе “взаимного гарантированного уничтожения”».[7]

камень или сакральный характер, в том числе слово политика, чиновника. По сетям разбегаются только импульсы возбуждения, но не смыслы. Например, какова цена высказывания, если уполномоченное лицо-актор выступает с заявлениями в соцсетях? Выступая как частное лицо, он обесценивает сам смысл «политического». Граница размывается, Слово всего лишь цифровое оружие в ряду других. В слова никто не вдумываются, важен только их мгновенный эффект. Что тогда происходит с особым (сакрализированным) словом Документа, Устава. Присяги, обета, молитвы? Политический статус уполномоченного ответственного лица теряется вместе с утратой в глобальной медиасреде значимости и права на особое (сакральное, окончательное) Слово.

Итак, глобальная медиа-сетевая деревня находит выражение в том, что нет больше локальной политики с множеством ее интересов и множеством направлений, а есть собственные политики медиа; нет уникального топоса со своей культурой, а есть только единое медиaprостранство с всеобщей сетевой мобилизацией. И тогда третий вопрос состоит в том, возможно ли вообще суверенное решение, если нет возможности принять решение о чрезвычайной ситуации: ни в смысле уникального политического решения (в отсутствии четких политических субъектов и в отсутствии рационализации войны), ни в смысле полномочного в ситуации глобальной медиавойны (всех против всех на единой территории цифровой деревни). Гоббс пишет о правопорядке, заданном авторитетом: «*Autoritas, non veritas facit legem*» [5]. Но в медиамире нет единого авторитета, также как нет единственной истины. Множественность правит. В таком мире предстоит научиться самостоятельно и ситуативно (без самочинного произвола) учредить границы порядка.

Клаузевиц выделяет истинную природу войны, которая является крайней степень насилия, требует высшей интенсивности и сосредоточения воли. Однако предупреждает, что не следует питать иллюзий: «Так и надо смотреть на войну; было бы бесполезно, даже неразумно из-за отвращения к суровости ее стихии упускать из виду ее природные свойства (кровопролитие и насилие). Если войны цивилизованных народов гораздо менее жестоки и разрушительны, чем войны диких народов, то это обуславливается как уровнем общественного состояния, на котором находятся воюющие государства, так и их взаимными отношениями. Война исходит из этого общественного состояния государств и их взаимоотношений, ими она обуславливается, ими она ограничивается и умеряется. Но все это не относится к подлинной сути войны и протекает в войну извне. Введение принципа ограничения и умеренности в философию самой войны представляет полнейший абсурд» [4]. Именно принимая во внимание его сущностную трактовку войны, сегодня следовало бы говорить о стирании границы между войной и политикой с опасением, поскольку политика в ситуации медиасреды утрачивает способность «ограничивать и умерять» кроважидую стихию войны, а, напротив, сама становится эскалацией и насилием, беспределом и стихией безмерного и без-образного. Вместо того, чтобы учредить и сохранять международный правопорядок и его регулятивы, политика пала под натиском собственных политик медиа (подробнее о них в гл.3 части III). Заявления о повсеместной фейковости и ситуации постправды утверждают не просто господство лжи и дезинформации, но исключают само представление о доброй воле и об обязанности (хотя бы в качестве мотива, как у Канта сформулирован категорический императив) быть честным вопреки голому расчету цифрового разума. Цивилизованность еще не гарантирует меньшей жестокости и разрушительности, большей гуманности войны. Только введение морального основания может обеспечить возможность различать войну и политику.

Ссылки:

1. Хайдеггер М. Вопрос о технике //Время и бытие. М.1993. С. 221–237.

2. 2. Филиппов А.Ф. Левиафан: между ужасом и признанием // Вестник Европы 2016, 44–45
3. 3. Кант И. К вечному миру.
4. 4. Клаузевиц. К. О войне.
5. 5. Гоббс Т. Левиафан. М., 2016. – 672 с.
6. 6. Хайдеггер М. Размышления II–VI (Черные тетради 1931–1938)/ Пер. с нем. А.Б.Григорьева. – М.:Изд-во Института Гайдара, 2016.
7. 7. Кокошин А.А.. Война и военное искусство: политологическое и социологическое измерения// Социологические исследования, № 3 (371). 2015. С. 97–106.

§ 2. Медиааналитика в ситуации постправды

«...Среди кузнециков беспамятствует слово...»
Осип Мандельштам

Стихия медиа: язык, среда, арена

Медиа-информационный поток, ставший для нас столь же необходимой средой как вода для земноводных, ставит перед нами вопрос о том, как сохранить «надежные» основания рефлексии. Рефлексия, казалось бы, доступна в свете одинокого ночного светильника, но не в массовом шуме сетевого общения. Однако аналитическое отношение к стихии медиа создает возможность рефлексии на новых основаниях. Попробуем определить точку опоры для рефлексии.

Будем исходить из трех принципиальных положений, которые необходимо иметь в виду прежде всякого медиаанализа. Во-первых, тезис М.Маклюэна «медиа – это послание» [2], то есть медиа (и окружающая медиасреда в целом, и специфическая функциональная виртуальная реальность с ее игровыми образами и мемами, и медиaprостранство как новый вид социального пространства) – это не просто техническое средство, которым мы пользуемся. В отличие от прикладного инструмента и орудия, медиа, подобно всякому «языку» коммуникации (включая такие древние формы медиации человека с Богом и с другим человеком как жертва, дар, деньги, или же, например, медиация во внутренней среде организма – циркулирующие жидкости: кровь или пневма, вплоть до нейромедиаторов и нейротрансмиттеров), «нагружают» контент нашего послания, встраиваются в него, поскольку и содержат в себе «генетически» код всякого содержания, и определяют сами коммуникативные модели, задают образцы социальной связности. Медиа и как код «вшито» во всякое сообщение, и определяет форму его подачи. Во-вторых, медиа как всякая технология оказывают обратное воздействие на своего творца, то есть определяют наше восприятие, становясь новой *средой* нашего чувствования, мышления, реагирования. Прежде всего, медиа трансформируют пространство-время. Более того, мы подражаем нашим медиа. А собственные политики медиа сегодня даже формируют сценографию реальной политики. И, в-третьих, эффект глобальных медиа состоит в коллективизации воображения, в создании универсального массового пространства, за которое неизбежно ведется война, причем это Гоббсовская «война всех против всех», а не, например, «справедливая война» – за равенство прав и суверенность волеизъявления. Наше жизненное пространство бесспорно стало общим виртуально-социальным полем («глобальная деревня» Маклюэна или коммунальное публичное пространство, но не на основе сопричастности общим символическим ценностям, а по образцу общей цифровой *арены*). В этом, с одной стороны, объединяющий и освобождающий потенциал медиа, их ресурс солидаризации (как в случае политического флешмоба, организованного с помощью социальных сетей), а с другой стороны, – неизбежна агональность коммуникации в медиасреде²⁸

²⁸ Как пишет Кант в работе «К вечному миру» [1]: «Для самой же войны не нужно особых побудительных причин: она привита, по-видимому, человеческой природе и считается даже чем-то благородным, к чему человека побуждает честолюбие, а не жажда выгоды; это ведет к тому, что военная доблесть рассматривается как имеющая большую непосредственную ценность (у американских дикарей, равно как у европейских во времена рыцарства) не только во время войны (что справедливо), но также в качестве причины войны (dass Krieg sei), и часто война начинается только для того, чтобы выказать эту доблесть; стало быть, в самой войне усматривается внутреннее достоинство, так что даже философы восхваляют войну как нечто облагораживающее род человеческий, забыв известное изречение грека: Война дурна тем, что больше создает злых людей, чем уничтожает их».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.